

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ МЕМУАРОВ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Никогда не думал, что соберусь писать воспоминания. С отрочества относился к ним со скепсисом, хотя рано убедился в том, что в них можно почерпнуть сведения, отличающиеся от привычных версий событий. Кажется, в 1956 г. мой отец привез с какого-то всесоюзного совещания, то ли строителей, то ли железнодорожников, в Кремле книгу воспоминаний о В. И. Ленине. Еще не было известно, что вверху взяли курс на разоблачение культа личности И. В. Сталина. К удивлению читателей, среди авторов и упоминаемых ими друзей Ленина встречались фамилии тех, кого клеймили как непримиримых врагов, предателей советской власти и партии большевиков. В частности, рассказ Н. К. Крупской об обеде с Н. И. Бухариным в их доме 30 августа 1918 г., перед поездкой Ленина на завод Михельсона, полностью противоречил фильму «Ленин в 1918 году», в котором Бухарин был одним из главных организаторов совершенного там покушения. Много неожиданного можно было прочитать и на страницах воспоминаний полуопального руководителя Военно-революционного комитета в дни Октябрьской революции Н. И. Подвойского, коменданта Московского Кремля в годы Гражданской войны П. Д. Малькова и др.

Интеллигенция в 1950–1960-х гг. зачитывалась мемуарами И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», которые расценивали как предтечу грядущих реформ. Позднее в моду вошли похожие друг на друга сочинения полководцев Великой Отечественной войны Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского, С. М. Штеменко и т. п., из которых, однако, все-таки можно было узнать малоизвестные сведения и детали, отличавшиеся от канонизированной истории о начале, ходе и жертвах войны. Каждому было понятно, что в большинстве случаев мемуары готовили профессиональные журналисты, сами мемуары подвергались жесткой цензуре и самоцензуре, а их выход согласовывался на самом верху. Но и здесь контроль давал сбой. В частности, огромной популярностью пользовались мемуары генерала армии А. В. Горбатова «Годы и войны» (1965), о котором сам И. В. Сталин сказал: «Да, так-то Горбатов. Горбатов только могила исправит». Его откровенные рассказы о методах НКВД в 1937–1941 гг. по выбиванию необходимых признаний производили шокирующее впечатление и до сих пор кажутся чем-то необыкновенным в годы происходившей тогда политики замалчивания или даже отрицания сталинских репрессий.

Стойкий скептицизм к этому жанру у меня возник после прочтения купленных в Ростове-на-Дону в 1959 г. «Мемуаров» Ш. М. Галейрана. К моему удивлению, текст знаменитого французского политика и дипломата, служившего многим сменявшимся режимам от Людовика XVI до короля Луи-Филиппа, успевавшего каждый раз не только предвидеть падение очередного правителя, но и предать его в пользу идущего на смену, был занудный, лживый и бессодержательный. А ведь его

автор считался одним из самых утонченных и умных людей своего времени, узнав о смерти которого современники, воспринимавшие Талейрана как человека, не делавшего ничего просто так, иронизировали: «Талейран умер. Интересно, для чего это ему понадобилось?».

Разочарование этими мемуарами скрашивал блестящий очерк Е. В. Тарле о Талейране. Благодаря ему я понял, что «отец дипломатии» и в мемуарах остался верен самому себе: обманывая всех при жизни, он старался обмануть читателя и после смерти. Поэтому он без тени смущения оправдывал себя во всем и обвинял власти, преданные им в разные годы, во всех ошибках и смертных грехах: они якобы вынудили его ради спасения Франции поочередно предавать роялистов, жирондистов, Директорию, Наполеона I, Александра I, Людовика XVIII. Удивительно, что при этом Талейрану удавалось более 20 лет оставаться одной из ключевых фигур менявшихся режимов.

Не меньшее разочарование у меня вызывали и воспоминания других политиков. Некоторые из них были, конечно, гораздо интересней и содержательней мемуаров Талейрана. Однако почти у всех мемуаристов-политиков я встречал не столько стремление поведать о пережитом и происшедшем, сколько, как говорится, проявить остроумие на лестнице: свести счеты с врагами и обидчиками, воздать славу друзьям, близким родственникам и покровителям, заодно поведать миру о чистоте своих помыслов, благородстве деяний и достижениях. Встречались воспоминания, где ярко выражено одно из этих намерений, и тогда они воспринимались мною или как злобный пасквиль, или как некая слащавая патока. Особенно пугала неискоренимая субъективность мемуаров. «Врут, как очевидцы», — это можно было сказать практически про любые из них. (Поэтому правильнее было бы мне назвать свои воспоминания «Еще одно лжесвидетельство»...)

Со временем выяснилось, что в не меньшей мере этим недостатком грешат и воспоминания ученых, профессиональная деятельность которых, казалось бы, должна была приучить их авторов к честности и объективности. Большой переполох в научном сообществе в годы зрелого брежневизма вызвала книга известного генетика, возглавлявшего в те годы Институт общей генетики АН СССР, — Н. П. Дубинина «Вечное движение» (1973). Книга, изданная в Политиздате, была явно стимулирована кем-то вверху как ответ на публикации Ж. А. Медведева «Подъем и крах Т. Д. Лысенко» и М. А. Поповского «Дело академика Н. И. Вавилова», вышедшие в Англии и США. Дубинин не ограничился выполнением социального заказа, т. е. оправданием создателя мичуринской биологии путем деполитизации и деидеологизации феномена лысенкоизма и сведения борьбы с ним к обычным научным разногласиям. Значительная часть книги была заполнена самовосхвалениями автора и его критическими выпадами против коллег, в том числе и учителей (что вообще считается недопустимым в научном сообществе) Н. К. Кольцова, А. С. Серебровского и т. д., традиционно недолюбливаемых властями именно за отказ безоговорочно подчиниться партийному диктату и принять бредни народного академика за научное откровение.

Естественно, биологи и историки науки, увидев в книге стремление реабилитировать как лысенкоизм, так и саму партийную политику в отношении генетики и дарвинизма, прореагировали на книгу отрицательно. Ее стали именовать «Вечным самовывдвижением», вспоминая всегдашние карьеристские устремления автора и его борьбу не только с научными противниками, но и с единомышленниками,

которые воспринимались им как конкуренты. Многие взялись за перо, во все редакции посыпались разгромные рецензии, которые редколлегии не могли публиковать, так как нельзя было критиковать книги, вышедшие в Политиздате.

Но к тому времени в стране был уже накоплен опыт подготовки и распространения андеграундной литературы. Многие рецензии стали перепечатываться и распространяться по неофициальным социальным сетям, а наиболее удачные и остроумные пересказываться. Одну из таких анонимных рецензий-карикатур мы с моим коллегой Я. М. Галлом так активно пропагандировали, что в Ленинграде нас записали в ее авторы. Только впоследствии мы узнали, что ее сочинил популяционный генетик, а впоследствии историк и философ науки М. Д. Голубовский. Воспоминания Н. П. Дубинина превратили его в своего рода изгоя в академическом сообществе. Ему отныне каждое лыко ставили в строку и в конечном счете добились освобождения с поста директора академического института. Среди других причин его снятия немалую роль играла и крайняя его субъективность в оценке трагических событий в истории отечественной биологии и ее героев.

Со временем мне стала очевидной ошибочность негативного отношения к мемуарам. Более того, их субъективность из недостатка в моих глазах стала превращаться в достоинство. Произошло это в конце 1980-х гг., когда я брал интервью у ключевых участников борьбы с лысенкоистами в 1930–1960-х гг. (В. Я. Александрова, В. С. Кирпичникова, Д. В. Лебедева, Ю. И. Полянского) и у других ученых, деятельность которых разворачивалась в этот период (А. Д. Александрова, М. М. Голлербаха, Е. И. Лукина, А. М. Уголева и др.). Обнаружилось, что встречающиеся в ответах и рассказах ошибки в датах, в описании событий и их последовательности, в оценке позиций участников, в том числе порой и собственных, — это отнюдь не результат обдуманного намерения ввести меня, а значит, и будущего читателя в заблуждение, а результат присущего человечеству свойства воспринимать и подправлять реальность в выгодном для себя свете. И чем более двусмысленным было поведение того или иного повествователя в тот или иной период, тем больше был угол искажения. Выяснилось, что сам критерий объективности неуместен при оценке этого жанра, а попытки подкрепить свои воспоминания всякого рода документами, будь то вырезки из газет, характеристики, отзывы, письма, дневниковые записи, нередко вносят дополнительные трудности при реконструкции прошлого.

При неизбежной фальсификации подавляющего числа документов того времени ссылки и цитаты не столько служат обоснованию рассказа, сколько свидетельствуют о внутренней неуверенности автора в правильности своих реминисценций. Ведь на протяжении нескольких десятилетий думали одно, говорили другое, писали третье. Поэтому сейчас трудно воспроизвести, что же было на самом деле и что искренне считал и говорил тогда рассказчик. В годы тоталитарного террора только с самыми близкими людьми решались на откровенность, и то только дома, на диване и шепотом, как сказала мне в одном интервью директор и главный редактор Лениздата в годы войны Ф. И. Кричевская, получившая в начале 1950-х 25 лет лагерей. И даже подобная осторожность не гарантировала от репрессии, так как предавали не только друзья, но и ближайшие родственники: мужья, жены, родители, дети. Не зря в те годы родилась фраза: «Порядочный человек — это тот, кто делает подлости без удовольствия». Нельзя забывать и огромную субъективность в выборе

документов, которые сами по себе являются лишь текстами эпохи, требующими прочтения и интерпретации в ее социально-культурном и языковом контексте.

Сравнивая многочисленные мемуары по истории отечественной биологии, я начинал понимать, что наиболее полезны труды, где автор рассказывает о пережитом с позиций сегодняшнего дня, не пытаясь представить себя в роли носителя конечной исторической истины. Чем больше субъективность мемуаров, тем больше их ценность, так как мемуары, хотя и рассказывают о людях, годах и событиях, но не столько воскрешают забытые имена и факты, сколько раскрывают духовно-нравственный мир повествователя через восприятие пережитых им событий.

Решающим в осознании этого требования к мемуарной литературе стал разговор весной 1989 г. с Ю. И. Полянским, незадолго до того закончившим рукопись «Годы прожитые» и попросившим меня дать рецензию. Воспоминания и по стилю, и по содержанию были блестящими, я их «проглотил» быстро. Помимо официального отзыва я в разговоре указал Юрию Ивановичу на ряд ошибок в датах, последовательности событий, должностях упоминаемых лиц, названиях учреждений и т. д. Он согласился с замечаниями и предложил из рецензента превратиться в редактора. Мне трудно было отказать человеку, которого я считал одним из своих учителей и который на протяжении более чем двадцати лет помогал мне. К счастью, Ю. И. Полянский понял доводы, согласно которым я как редактор-историк только испорчу книгу, превратив ее из свидетельства участника прошлых событий в выхолощенный текст с выверенными датами и оценками событий, базирующимися не на личных воспоминаниях, а на литературных и архивных источниках.

Юрий Иванович не дождался выхода в свет своих мемуаров, которые подготовила к печати его верная ученица и коллега Т. В. Бейер. Но на сегодняшний день это один из лучших образцов мемуарной литературы по истории отечественной биологии. В каждом его предложении чувствуется уникальность пережитого рассказчиком. Восприятие прошлых событий преломлено через его богатый жизненный опыт от Первой мировой войны до распада государства.

У читателя этих мемуаров, естественно, могут возникнуть вопросы: «А зачем браться за написание мемуаров, если автору заведомо известна их неискоренимая субъективность? А вообще, кто автор такой, чтобы в гордыне полагать, что его жизненный опыт и оценки прошлых событий представляют какую-либо ценность? Да и его возраст не столь уж велик, чтобы претендовать на какой-либо опыт, отличный от переживаний ровесников, которые не нуждаются в прочтениях рассказов других о пережитых ими событиях. Титулов, наград и премий не так уж много!» Всякий задавший эти и подобные вопросы будет прав.

Их задавал я сам себе, а также некоторым младшим коллегам, которые, выслушав очередной мой рассказ об увиденном, пережитом и услышанном, уверяли, что все это интересно, так как якобы проливает свет на закулисную историю науки, раскрывает историческую антропологию научного сообщества и т. п. Но ведь кто скажет правду в таком деликатном деле? В силу необратимого течения времени мне все чаще доводится говорить, чем слушать, на различного рода юбилейных вечерах и конференциях о встречах, общении, сотрудничестве, а иногда и дружбе с людьми, известными научной общественности, оказавшими влияние на облик ленинградско-петербургской биологии в 1960–1990-х гг. Многочисленные беседы и интервью с непосредственными участниками борьбы с лысенкоистами позволили лучше

представить ее сложную историю. Становились очевидными многие мифы, сложившиеся в истории науки. Особенно важны для меня были беседы разных лет (будь то специальные интервью или короткий обмен мнениями по данному вопросу), когда моими собеседниками были А. Д. Александров, В. Я. Александров, Н. Н. Воронцов, М. М. Голлербах, И. С. Даревский, А. В. Иванов, Л. З. Кайданов, М. М. Камшилов, И. И. Канаев, В. С. Кирпичников, Ф. И. Кричевская, Е. И. Лукин, Ю. В. Наточин, К. Л. Паавер, В. О. Самойлов, Л. Н. Серавин, Я. И. Старобогатов, Т. Я. Сутт, Л. П. Татаринов, Л. А. Фирсов, А. Г. Юсуфов, Е. С. Якушевский, М. Г. Ярошевский и др. Судьба дала мне уникальную возможность в течение многих лет сотрудничать с К. М. Завадским, Д. В. Лебедевым и Ю. И. Полянским, что сказалось на многих моих научных взглядах и на трудах. В 1984–1991 гг. мне довелось еженедельно вести долгие беседы с А. М. Уголевым, благодаря которым я смог выяснить для себя не только важные моменты в истории советской биологии, но и лучше, как мне сейчас кажется, понять ее этос и особенности академического сообщества в целом и биологического в частности. Последняя четверть века была ознаменована публикациями воспоминаний биологов (Г. И. Абелев, Ю. Ф. Богданов, В. Я. Александров, С. М. Гершензон, Л. А. Пирузян, Е. М. Крепс, Т. С. Ростовцева, М. П. Солнцева, В. А. Струнников, Н. В. Тимофеев-Ресовский и др.). Однако ещё далеко до полного понимания событий прошлых эпох и их ключевых механизмов, а также важных аспектов взаимоотношений биологического сообщества, научного общества в целом и власти, которые претерпевали коренные изменения на наших глазах.

Однако мои воспоминания отнюдь не ограничиваются историей отечественной биологии. После окончания Ленинградского университета я десятки лет работал в Ленинградском университете на философском, геологическом и биолого-почвенном факультетах почасовиком или совместителем, читая разного рода историко-научные, философско-методологические и биологические курсы. Это дало мне возможность наблюдать университет немножко со стороны и понять, почему любимая моя альма-матер сейчас не входит в число даже 600 лучших университетов мира, хотя в нем немало блестящих профессоров, хранящих традиции славного прошлого. Знакомые мне академические и университетские сообщества философов и биологов представляют собой пусть и весьма разнообразные, но в то же время единые социальные образования, в которых отразились противоречия эпохи перехода от настроений, надежд, чаяний и разочарований первой половины 1960-х гг. до примерно той же гаммы чувств в 1990-х гг.

Философский факультет в частности и философское сообщество Ленинграда-Санкт-Петербурга в целом на протяжении всего этого времени всегда были максимально идеологизированы и политизированы. Его члены нередко имели прямой выход на властные структуры, и в их истории была представлена, хотя порою и в гротескных формах, важная часть интеллектуальной истории страны и города, в особенности проявившаяся в массовом отказе от прежних ценностей и даже целых мировоззрений в пользу их полных антиподов. Среди ярких обличителей советской философии оказалось немало тех, кто свою научную карьеру выстроил, пропагандируя решения партийных съездов и труды классиков марксизма. Столь массовый и скорый идеологический переворот всего философского сообщества огромной страны, претендующей на самобытное место в современном культурном мировом развитии, представляется явлением, требующим всестороннего обсуждения.

Однако, насколько мне известно, ни в специальных научных трудах, ни в воспоминаниях философов нет даже внятной постановки вопроса о том, почему это произошло и что предшествовало подобному массовому ренегатству. Не выяснено, был ли столь мощный адаптационный синдром отечественной философии к новым социально-политическим и экономическим условиям результатом его крайней политической ангажированности на протяжении XIX–XX вв. или закономерным результатом некой моральной и интеллектуальной ущербности большинства выбравших эту стезю. Именно на это делают упор ряд рефлексирующих философов, окончивших ЛГУ в те же годы. Создается впечатление, что образцом для их воспоминаний служил финал популярного в наши дни анекдота: все в дерьме, а я один в белом. Неинтересны мне и их рассказы о том, кто, с кем, когда и каким образом, унижающие, на мой взгляд, не женщин, а авторов, претендующих на некий интеллектуальный эстетизм, да ещё порой православного розлива.

К сожалению, и в мемуарах наших учителей, предельно честного и рыцарственного Моисея Самойловича Кагана, а также высокомерного Игоря Семеновича Кона, происходящее рассматривается сквозь призму социально-психологических характеристик ряда действующих лиц, названных приверженцами официальной идеологии и конформистами. На мой взгляд, это не совсем так или, точнее, совсем не так. Вспоминая учебу и работу на факультете в 60–70-х гг. прошлого столетия, я прихожу к выводу, что уже тогда значительная часть студенчества и профессорско-преподавательского состава страдала от идеологического единомыслия и пыталась выйти за пределы марксизма.

Не менее важными мне кажутся годы, проведенные на Урале, где современникам пришлось пережить масштабный период ломки прежних стереотипов, вызванных десталинизацией и формированием критического отношения к официальным обещаниям и постановлениям. И в школе, и в годы работы в изыскательской партии, в путешествиях по стране приходилось убеждаться в том, что позиции коммунистического режима не столь прочны, как уверяли средства массовой пропаганды. Даже в партийно-административных кругах областного масштаба, связанных с решением глобальных экономических, промышленных и сельскохозяйственных задач, зрело недовольство существующим положением. В последние несколько лет я не раз встречался со многими своими бывшими одноклассниками и с удивлением увидел, что подавляющее большинство, в том числе те, жизнь которых не улучшилась в постсоветский период, восприняли происходящее как неизбежный ход событий. В годы же детства и юности я удивлялся, почему они пассивно реагируют на некоторые мои филиппики; теперь же понимаю, что многие из них были детьми тех, кто не по собственной воле оказался на Урале, и это приучило их к молчанию.

Не менее поучительным оказалось осознание того, как мало мы знали друг о друге и насколько по-разному воспринимали происходящее вокруг. Так, меня удивила реакция одной из самых ярких девушек, отличниц и умниц нашего класса Тамары Меламед на мое интервью, в котором говорилось, что в 1950-х примерно 95% домов в Челябинске были деревянные. Она с удивлением спросила, где мне удалось увидеть такие дома. Оказалось, что из детства, отрочества и юности она запомнила только несколько кварталов, в которых жила она и ее ближайшие друзья, а также улицы, вдоль которых она ходила в школу, на занятия английским языком и музыкой. В памяти не осталось даже то, что противоположная сторона улицы, на которой

стояла наша школа, полностью была застроена деревянными домами, часть которых была как раз через дорогу, и она их видела каждый день.

Но и моя память оказалась столь же избирательной. Я начисто забыл о том, что в 10-м классе, когда я оставался, пожалуй, единственным некомсомольцем, чем портил школьные показатели, мои одноклассники, отнюдь не карьеристы и не зубрилы, не хотели принять меня в комсомол, хотя им рекомендовали так сделать учителя, чтобы не портить мне анкету. Как рассказал Витя Гохфельд спустя 45 лет, они были шокированы моими вольными политическими высказываниями на комсомольском бюро. Причем особенно важно, что не содержанием высказываний, а тем, что они были произнесены там, где все должно было выглядеть безукоризненно с формальной точки зрения. Естественно, тем самым я мог подвести людей, принимавших решение. Странно, что я об этом забыл, а Витя Гохфельд помнил и рассказал, как бы несколько извиняясь за свои тогдашние колебания.

Что касается воспоминаний как средства самовыражения и увековечивания себя, то для меня это слабая мотивация. Я знаю, как ненадежен этот путь, вызывающий массу толков, пересудов и обид. Мне не известны случаи, чтобы мемуары увеличивали число друзей, а вот количество врагов порою возрастало многократно. Моя судьба сложилась так, что удалось напечатать практически все, что я хотел сказать. Кто интересовался исследуемыми мной проблемами, мог ознакомиться с их изложением в сотнях работ. Поэтому увековечивать себя мемуарами неразумно и рискованно. Хорошо бы написать мемуары так, чтобы, не лукавя, назвать их «Без похвалы и поношений», но, когда пишешь о себе и об окружающих, трудно сохранить объективность.

Недавно мне пришлось встретить такое определение человека: «Человек есть животное, рассказывающее истории». Автор этого определения Грэм Свифт считает, что куда бы человек ни отправлялся, что бы он ни делал, ему хочется оставить не хаотические следы своей деятельности и тем более не пустое пространство, не позволяющее понять, а для чего же все это было. Поэтому все мы стремимся застолбить прошлое утешительными вешками и флажками рассказов и непрерывно рассказываем истории, точнее непрерывно их сочиняем. Ведь воспоминание — это не возвращение в прошлое и даже не попытка воспроизвести его в настоящем, вернув образы ушедших людей. Воспоминание — это не только наше настоящее, воспоминание — это скорее попытка прорыва в будущее, последняя надежда сохранить себя в памяти потомков таким, каким тебе хотелось бы выглядеть. У человека, как и у страны, не все потеряно, пока есть история, которую хотелось бы иметь и за которую не стыдно. Ведь в этом мире все борются за правду, но правда у каждого своя.

В своих мемуарах я хотел бы рассказать прежде всего о людях, которые, несмотря на не очень простые условия жизни, растили детей, дружили, помогали друг другу, строили дома, учили подрастающее поколение и по возможности честно исполняли свой долг на земле. И таких людей, вопреки широко культивируемому сейчас мнению, было большинство. Конечно, как говорил Михаил Булгаков, квартирный вопрос или ненормальные условия жизни многих из них испортили. Но мой опыт многократного пребывания в разных странах благополучного Запада, а также Японии, Индии и Китае убедил, что нет существенных отличий в общечеловеческих качествах и поступках. И это естественно. Ведь никогда и нигде для

большинства людей не существовало идеальных условий жизни. Почти все и всегда должны были вести тяжелую борьбу за выживание свое и своих детей. Тем не менее на протяжении сотен тысяч лет человечеству удается сохранить такие качества, как верность, честность, альтруизм, взаимопомощь, доброта, трудолюбие и т. п.

Не желая идеализировать ни прошлое, ни настоящее, я не собираюсь следовать распространенной моде тотального очернительства «совков». Меня раздражают не только воспоминания, но и книги с претензией на историческую достоверность, в которых автор следует суждениям гоголевского героя: мол, нет в городе порядочных людей, кроме судьи, да и тот подлец. Представляются непродуктивными попытки изображать прошлое, впрочем, как и настоящее, в черно-белых красках. Ввиду многомерности реальности должны существовать разнообразные направления в воспроизведении ее когнитивных, социально-психологических, социально-антропологических, идеолого-политических, экономических, институциональных, семантических, семиотических и символических аспектов. Открывшиеся два десятилетия тому назад архивы способствовали разрушению многих мифов о социалистической эпохе. Это породило у многих авторов стремление изображать весь советский период лишь в черных или серых тонах, забывая о блестящих достижениях советской науки и промышленности, обеспечивавших СССР прочное второе место в мировой экономике, высоком качестве среднего и высшего образования в стране, о массовом строительстве жилья, о ликвидации голода и т. д. Как я уже говорил, не прельщают меня и рассказы о том, что ниже пояса, и не в силу ханжеского лицемерия. Вопреки шуткам перестройки, секс в СССР, конечно, был, но в нашем кругу было не принято говорить об «этом». Кому интересно узнать, кто, с кем, когда и в какой обстановке, может не открывать эту книгу. В ней этого нет.

На самом деле стремление увидеть прошлое только сквозь черные очки или дальтонизм при описании процессов недавнего прошлого науки порождают такие же мифы, как и недавно господствовавшая легенда о новой исторической общности людей, днем и ночью думавших о том, как бы поскорее выполнить исторические решения очередного съезда КПСС и что-то там соорудить, построить, завершить, водрузить, задуть, собрать, преодолеть и т. п. Изображение прошлого в черных тонах обычно декларируют как объективный анализ, призванный преодолеть якобы насквозь идеологизованную и политизированную советскую гуманитарную литературу, в том числе и такую ее часть, как воспоминания. Мне представляется бессмысленным вопрос, кто больше, а кто меньше политически и идеологически ангажирован был в недавнем прошлом, кто и чем занимался до перестройки, кто и от кого получал деньги, кто, когда и за сколько менял свои убеждения. Оставим эти темы для средств массовой информации, а также некоторым отечественным историкам науки, вынужденным отрабатывать свой тяжелый эмигрантский хлеб.

Многолетний опыт общения с рядом видных советских биологов, сыгравших огромную роль в борьбе с лысенковщиной и в преодолении её последствий, убедил меня в том, что среди них было немало бескорыстных искателей истины. Все они были яркими личностями, не похожими друг на друга. Каждый имел собственную мотивацию и стратегию поведения, которые нередко менялись не столько от социально-культурного контекста, сколько от эволюции самих научных взглядов. В силу профессиональных занятий мне известно, что всякое историческое исследование предполагает изучение огромного комплекса источников: архивных, литературных,

устных и т. д., на базе которых строятся более или менее обоснованные реконструкции и делаются выводы.

В последние годы стали доступны многие партийные и государственные архивы, в том числе ЦК ВКП(б), НКВД и т. д., которые позволяют лучше понять многие пусковые механизмы в истории советской науки. Но смотреть на прошлое только через воспоминания, стенограммы партийных собраний, служебных записок или протоколов допросов арестованных, на мой взгляд, дело бесперспективное, так как всякий раз необходима тщательная проверка на истинность этих свидетельств в силу изначальной фальсифицированности архивного материала, авторами которого, увы, тоже были люди. При всей противоречивости и многогранности истории советской науки в ней сохранялась нацеленность на приобретение нового знания. И подлинный, неофициальный успех здесь приходил только к талантливому, целеустремленному и удачливому человеку, преданному своему делу. В противном случае СССР не смог бы конкурировать с США в области военных технологий и в освоении космоса.

Изображение всех советских ученых как занимавшихся научной практикой только ради финансирования, поиска патронажа среди властей предержавших, выстраивания социальных сетей, создания собственных школ как мафиозных группировок, построения «научных империй» и т. д. оставляет без ответа главные вопросы: «Для чего они это делали?», «Что они сделали?», «Как они это сделали?», «Почему у них были столь различные результаты?» и «Насколько их результаты соответствовали уровню мировой науки?» Без ответа на эти вопросы любые воспоминания о научной деятельности теряют смысл, как бессмысленна военная история без сражений, история литературы без художественных произведений и т. д. В итоге мы имеем не столько нейтралистский анализ или объективистскую картину прошлого, сколько сверхсубъективный мир автора, конструирующего всех своих героев по своему образу и подобию.

Воспоминания, снабженные массой подробностей из личной жизни своих коллег и родственников, трудно назвать проникновением в прошлое, как и исторические романы В. Пикуля «Пером и шпагой», «Битва железных канцлеров» и др., столь популярные в 1970–1980-х гг. В них все государственные деятели Российской империи XVIII–XIX вв. включая императоров, цариц, канцлеров, полководцев, офицеров, выглядели удивительно однообразно: пьяницы, воры, скандалисты, развратники и развратницы, хамы, дураки и т. д. На мой взгляд, следует в воспоминаниях соблюдать принцип нейтральности, избегая по возможности морализирования и пафоса, использовать все цвета радуги и их оттенки при реконструкции нашего прошлого, впрочем, как и настоящего, рассматривая его в целом как один из способов общественного устройства. Его специфика выражалась в стремлении государства контролировать все сферы жизнедеятельности человека, чтобы с максимальной эффективностью для себя использовать имеющиеся ресурсы для развития экономической и военной мощи, для идеологического оправдания собственной внутренней политики, для повышения международного престижа.

Конечно, правящая элита в СССР старалась не только поставить все сферы духовного производства под свой контроль, но воспитать особую разновидность интеллигенции, разделявшую её мораль, планы и мировоззрение. Со своей стороны народ, оказавшийся в условиях, когда только государство предоставляло средства

к существованию, вынужден был искать особые формы взаимоотношений с властями и обществом. Достигнуть взаимопонимания оказалось не столь трудно, так как «советизация» протекала в стране, где сильно были развиты мечты о царстве всеобщей социальной справедливости и равенстве, а также о мессианской роли России в мировой истории. Это и было то основное, что предопределило ее путь на протяжении нескольких столетий, но наиболее трагические события выпали на плечи наших родителей.

Некоторые из моих друзей, которым я давал читать воспоминания, чтобы проверить возможную реакцию читателей, правильно отметили, что в художественном отношении заключительная часть напоминает отчет о проделанной научной работе, и предлагали её сократить. В целом я был согласен с ними, однако после долгих колебаний не стал следовать совету. Дело в том, что в этой части сказано о последних двух десятилетиях моей жизни, во время которой история науки, включая организационную и административную деятельность, заслонила практически все. Порой я спал по три–четыре часа в сутки, работая над очередной книгой или коллективной монографией. Умолчать об этом, а также о коллегах и иностранных друзьях, с которыми я взаимодействовал в этот период, я посчитал неправильным.

Толчком к написанию этих мемуаров послужило интервью, взятое у меня в феврале 2004 г. Г. И. Смагиной и Т. И. Юсуповой и расшифрованное П. В. Кузьминым. После операции у меня и интервьюеров как-то не дошли руки довести его до печати. Но само интервью прочитали моя одноклассница Т. В. Меламед и братья, Я. И. Колчинский и Р. Ф. Брандесов, сделав ряд замечаний. В какой-то мере оно было использовано мною в подготовке письменных ответов на вопросы выдающегося украинского историка В. Н. Оноприенко в книге «Призвание». Ознакомившись с интервью, издатели, С. Э. Эрлих и Е. Ф. Качанова, несколько лет уговаривали меня превратить его в полноценные мемуары.

По ходу написания воспоминаний кое-какие детали из прошлого, прежде всего фамилии учителей и преподавателей, помогли мне уточнить одноклассники и однокурсники: Вадик Алесковский, Сережа Барькин, Витя Гохфельд, Ира Дуркина, Галя Егорова, Люда Мацына, Мила Комарова, Юрий Курочкин, Вова Крепышев, Толя Михеев, Володя Носов, Люда Овчинникова, Фима Ольштейн, Володя Рольщиков, Люда Сверчкова, Володя Симкин, Лена Смолина, Игорь Шмерлинг. Архивные сведения о некоторых родных мне сообщила моя двоюродная племянница Майя Ридовна Брандесова, а сведения о ее деде, М. Я. Колчинском, я нашел в Центральном государственном архиве историко-политической документации. Уже когда воспоминания были готовы, я прочитал мамин дневник за 1949–1951 гг. и обнаружил некоторые расхождения с тем, что вспоминается мне, и с тем, что она потом рассказывала. Но менять ничего не стал, так как это бы противоречило названию книги.

В полном виде с воспоминаниями впервые ознакомился редактор журнала «Политическая концептология» В. П. Макаренко и выбрал несколько глав для публикации. Елена Федоровна Качанова также прочитала их полностью и предложила публиковать как можно скорее в издательстве «Нестор-История». Она контролировала все стадии процесса редакционной подготовки, способствовала улучшению текста и более рациональному размещению фотографий. Моя жена — Наталия Викторовна Колчинская — внимательно прочитала текст, исправила наиболее

одиозные ошибки и дала добро на публикацию. Блестящий стилист и тонкий знаток русской классической литературы, профессиональный редактор, кандидат филологических наук Светлана Игоревна Зенкевич, как всегда, тщательно и придирчиво неоднократно прочитала рукопись, исправляя ошибки, неудачные выражения, убирая некоторые наиболее смачные, полужаргонные слова. Мой главный помощник по сектору Анатолий Всеволодович Полевой и заведующая библиотекой СПбФ ИИЕТ РАН Светлана Владимировна Ретунская выполнили огромный объем работы по составлению и проверке библиографии моих трудов, а также основных дат моей жизни по архивным документам и отчетам Филиала. Татьяна Ивановна Юсупова, составившая большой электронный архив Филиала, помогла мне уточнить многие детали. Ценные документы мне предоставила и заведующая нашим архивом Татьяна Юрьевна Феклова. Разумные советы по поводу иллюстраций я получил также от А.В. Родионовой.

Им всем я искренне благодарен, как благодарен и А. В. Балужкину, И. Л. Безбородко, Л. Я. Боркину, М. Д. Голубовскому и В. А. Драгавцеву за ценные комментарии по отдельным разделам рукописи. Без их помощи и моральной поддержки эта книга никогда бы не увидела свет. Ну а за её недостатки я готов отвечать сам.

ИСТОКИ И ВЗРОСЛЕНИЕ

ПРОБЛЕМА НАЧАЛА, ИЛИ МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Сейчас модно знать свои корни. Через 70 лет советской власти вдруг оказалось, что почти у всех предки князья, графы, дворяне, на худой случай купцы или промышленники. Непонятно, куда смотрели «органы» в борьбе с классовыми врагами. Несколько лет тому назад я встретил однофамилицу одного из фаворитов Екатерины II и узнал от нее, что он как-то вписывается в ее родословную. Возможно, это и так, хотя не исключен и некий семейный миф. Для меня самым удивительным оказалась то, что дама таким образом в прошлом искала основание для самоидентификации и обоснования жизненного кредо. От природы она обладала критичным умом и сильным характером, несмотря на все жизненные перипетии, не сломалась и, как она любит говорить, прожила не во лжи.

Недавно я прочитал, что в 1990-х гг. за 1000–1500 долларов можно было выправить любой документ о высоком происхождении, будь то от Рюрика или от Чингисхана. Изготавливаемые родословные снабжались ссылками на записи в церковно-приходских книгах и выписками из архивных документов, якобы сохранившихся с тех времен. Если бы участникам Куликовской битвы и Ледового побоища полагались льготы, то наверняка соответствующие органы смогли бы подготовить необходимые документы.

Несколько лет назад, когда мне исполнилось 60 лет и сотрудники убедили меня в необходимости отметить событие по всем академическим правилам со вступительной лекцией юбиляра, я решил ее также начать с выяснения родословной. К тому времени массовое изготовление родословных прекратилось, да и цены на них наверняка существенно подросли. Поэтому я не стал искать мифических родственников, а начал с рассуждения о том, что у меня были две бабушки и два дедушки, четыре прабабушки и четыре прадедушки, восемь прапрабабушек и восемь прадедушек и т. д.

Я остановился на 30-м поколении, где число предков в соответствии с геометрической прогрессией насчитывало уже миллиарды. Если по всем расчетам экологических историков, археологов и этнографов в то время, т. е. где-то в XIII в., все население Земли насчитывало 200 миллионов человек, то каждый живший в не столь уж отдаленные от нас времена мог бы быть по крайней мере 5–10 раз моим предком. На этом мне показался бессмысленным дальнейший рассказ о моей родословной, так как достаточно было бы просто читать всемирную историю человечества, так как она вся о деяниях моих предков. Но если кого-то подобная аргументация не убеждает, то я прошу верующих вспомнить о том, что они все потомки библейских Адама и Евы, живших около 7 тысяч лет тому назад, а неверующих — потомки опять же генетической Евы, но жившей в Восточной Африке примерно 150–180 тысяч лет назад. Существование единых африканских праматери и праотца однозначно

подтверждается сравнительным анализом цитоплазматических наследственных элементов человека и Y-хромосомы.

Я не случайно остановился ретроспективно на 30-м поколении, время которого совпадало с созданием Чингисханом и его потомками могучей империи от Тихого океана до Карпатских гор. Именно тогда уроженец бассейна р. Онона, обеспокоенный ростом сепаратистских движений на огромной евроазиатской территории, укрепляя вертикаль власти, провел антитеррористические операции в ряде областей Центральной Азии и восстановил величие Империи гуннов. 15 лет спустя его внук, оказывая братскую помощь дружеским славянским государствам, страдавшим от коррупции и клановых разборок местных олигархов, ввел ограниченный контингент войск на территорию ряда восточноевропейских княжеств и установил мир, покой и единую налоговую систему этой империи, наследником которой и стало четыре века спустя Московское царство Алексея Михайловича, провозглашенное в начале XVIII в. Российской империей.

Современная терминология была использована не случайно. Если оставить в стороне естественное желание съерничать в день шестидесятилетия, она отображает непреложный исторический факт: «рыжебородый бич неба батыр Чингисхан» в исторически обозримом прошлом создал огромную евроазиатскую державу, а ее преемницей стала Российская империя, в пределах которой я могу отыскать реальные корни моих предков, но только во второй половине XIX в.

Моя родословная проста. По советским меркам, у родителей были «идеальные анкетные данные» по социальному происхождению, воплощение «союза» рабочего класса, крестьянства и трудового ремесленничества. Но «красное колесо» проехало и по ним.

Одна ветвь со стороны матери и бабушки — это бывшие астраханские крестьяне Ивашинниковы, которые в середине XIX в. переехали на Дальний Восток и в 1866 г. основали село Никольское, ставшее позднее городом Никольском-Уссурийским. Первоначально село насчитывало 20 домов, и туда зааживали тигры, так как еще не находились под охраной первых лиц государства. Сейчас это город Уссурийск с населением свыше 150 тысяч. К сожалению, я там не был, но старший брат Юля посетил вместе с бабушкой этот город в начале 1970-х гг. и удостоверялся, что в местном краеведческом музее хранятся фотографии моего прапрадеда с братьями как основателей города. Очень интересно бабуся, как мы всегда звали нашу бабушку, рассказывала, точнее пересказывала, воспоминания своего деда о том, как он с братьями ехал через всю страну несколько тысяч верст на новую родину. А уехали они потому, что переселенцев освобождали на 25 лет от армии, а он и его братья и сестры не хотели, чтобы сыновья стали «пушечным мясом». Моему прадедушке было тогда шесть лет. Так что «косили» от армии еще при царе-батюшке.

Путь на Дальний Восток занял несколько лет. Зимой ехали на лошадях, гнали с собой скот. Летом останавливались, сажали, собирали урожай, косили, продавали часть собранного урожая, а что не могли продать — брали с собой и ехали следующую зиму. И так три года. Фотография моего прапрадеда Антона Ивашинникова, на которого, как все меня уверяли на работе, я очень похож, всегда стоит передо мной вместе с фотографиями моих родителей, бабуси, умершего старшего брата и выпускной фотографией нашего 10-го класса.

Я люблю всматриваться в лицо моего прапрадеда, стремясь понять, какая же сила вынудила их все бросить и отправиться на край света. Вообще, я всегда считал и продолжаю считать сельскохозяйственный труд не только самым тяжелым, но и самым нужным для процветания любой страны. Жаль, что именно крестьяне со времен Киевской Руси жили во все времена хуже всех. Простите за высокопарность, но чувствую связь поколений, и голос крови сильно говорит во мне. Там же стоит семейная фотография моего прадеда Андрея Антоновича Ивашиинникова, у которого было девять детей от двух жен, а в третьем браке детей не было. И на фотографии некоторые его внуки старше своих дядей и теток. Почти все его дети выжили, стали крепкими крестьянами. Семья была дружная. Все много трудились и создавали благополучие собственными руками. Земля там была плодородная, хороший климат. У прадеда было три больших хороших дома, из них два каменных. Свой дом имел и его старший сын Никифор, у которого также было шесть детей. На той же улице, называемой Николаевской, стояли дома двоюродных братьев и сестер прадеда. Кстати, все они отличались долголетием и многие прожили более 90 лет.

Бабуся, Анастасия Андреевна, родилась в 1891 г. Она была третьей среди детей прадеда от первого брака и с раннего детства помогала нянчить младших, затем окончила три класса церковно-приходской школы, учительские курсы и стала народной учительницей. На фотографии тех лет крестьянская девушка выглядит не менее благородно, чем выпускницы Бестужевских курсов. Была она человеком исключительной доброты и врожденной интеллигентности. Великая труженица, которая умела делать буквально все. Благодаря ей мы в послевоенные годы всеобщей нищеты и хронического дефицита всегда были со вкусом одеты. На старой машинке «Зингер», купленной еще до революции, она из старых вещей и железнодожного обмундирования моих родителей шила нам изящные брючки, курточки, рубашечки т. д. Она была талантливой рукодельницей, делала салфетки, вышивала, прекрасно готовила. Никогда в рот не брала спиртного.

Мой дедушка Павел Федорович Бойко сватался за нее еще в 1908 г., но прадед не дал благославления, надо было поднимать младших братьев и сестер, да и плохо знали жениха, недавно приехавшего с Украины. Но, видно, им было суждено быть вместе. Вышла она за него, когда он овдовел, — пожалела двух его малолетних дочерей, которые приходились ей двоюродными племянницами. На этот раз благословение дал и отец, сказав, что надо поднимать сирот. По их рассказам, они долго даже не знали, что мать им неродная, так как бабуся никак не отличала их от двух собственных дочерей. Всю жизнь она посвятила близким, помогла моей маме воспитать четырех детей, старалась для всех сделать что-нибудь хорошее. Была спокойна, рассудительна, с очень трезвым умом и прекрасным чувством юмора. Для нее человек всегда и при любых обстоятельствах должен был трудиться.

Её муж Павел Федорович Бойко родился в 1892 г., т. е. был на год младше жены; по происхождению он украинец из Киевской губернии, местечка Володарко, расположенном на реке Рось, правом притоке Днепра. Там до сих пор живут многие мои троюродные и четвероюродные братья. Его отец и мать родились еще крепостными. Сам он батрачил с юности и в 14 лет, не выдержав беспросветного труда, уехал на Дальний Восток, возможно, из-за участия в крестьянских волнениях 1906 г. Несколько тысяч километров он проехал как бродяга или под вагонами, или на крыше вагона. Начал работать кочегаром, затем помощником машиниста. Во времена

Гражданской войны участвовал в партизанском движении против японцев. Благодаря находчивости моей бабушки чудом избежал ареста, который, скорее всего, закончился бы для него в паровозной топке. После присоединения Дальневосточной республики к СССР был послан на два года на учебу в Москву. Вернувшись, вскоре переехал с семьей в Хабаровск, а затем в Калугу, откуда его часто командировывали в Среднюю Азию и на Кавказ для борьбы с басмачами.

После окончания в 1936 г. Транспортной академии им. И. В. Сталина, находившейся в Ленинграде на Петроградской стороне, он был направлен начальником отделения дороги на Северном Кавказе в Минеральных Водах. Там 23 мая 1937 г. его арестовали и расстреляли. Об этом мне стало известно недавно из списков жертв сталинских репрессий. Ранее я базировался на официальном сообщении о его смерти в 1943 г. от туберкулеза в лагере. Видимо, «славные» органы безопасности уже тогда знали, что творят преступления, и замечали следы. Я никогда не верил этому официальному сообщению и оказался прав. Получить сведения о дате суда и расстрела, о месте захоронения пока не удалось. Правопреемники преступных организаций после короткого периода страха и видимого раскаяния в 1990-х гг. сейчас вновь предпочитают отмалчиваться на запросы.

«К счастью» для жены и четырех дочек, они не успели переехать к нему из Ленинграда, где поселились во время его учебы в ЛИИЖТ. Это их спасло. Их не выслали как родственников «врага народа». В Ленинграде, где репрессии были всегда беспощадны, план по искоренению родственников вредителей, видимо, к тому времени уже был перевыполнен. Но из двух комнат, которые они занимали в коммунальной квартире на Лиговском проспекте, им оставили только одну. Исключили из комсомола и старшую сестру Люсю, которая пыталась как-то дать ход письму своего отца (моего деда) на имя И. В. Сталина, написанному на папиросной бумаге и доставленному бабушке каким-то неизвестным человеком. В письме дед заявлял о своей невинности и о зверском обращении с арестованными. Из-за всех этих переживаний мать плохо сдала сессию, и ее должны были лишить стипендии, что фактически означало невозможность продолжить учебу. Но мать пошла к ректору, рассказала о трагедии, и тот приказал стипендию сохранить. Это тоже важный штрих времени.

Говорят, дед был добрым, справедливым человеком, помогал людям, большую часть своей карьеры прожил на партийном минимуме. Он спас от голодной смерти во время коллективизации и Голодомора многих родных, устроив их на работу в городе. По маминым воспоминаниям, любил песню: «Судьба играет человеком... то вознесет его высоко, то в бездну бросит без стыда». Так с ним и случилось. Сын крепостного, он стал крупным железнодорожным начальником и сгинул в сталинских лагерях той системы, в создании которой участвовал, наивно веря в построение светлого бесклассового общества. Его реабилитации добилась дочь Июлиана Бойко (тетя Люся) в 1956 г. Тогда бабушке, проработавшей всю жизнь, дали пенсию, целых 330 рублей (33 после реформы 1961 г.). До этого она не имела прав на нее как вдова «врага народа».

Надо сказать, что во время коллективизации выслали всех бабушкиных братьев и сестер вместе с семьями — видимо, Дальний Восток строителям счастливого будущего казался «землей обетованной» для трудового крестьянства. Но они все выжили, так как, привыкшие к тяжелой работе, на новом месте быстро вырубали лес,

поставили дома, завели хозяйства. Бабушке повезло в тот раз — она с мужем жила в Калуге. Ужасной была судьба прадеда: воспитал столько детей, имел крепкое хозяйство, кормил, в буквальном смысле этого слова, десятки людей, а умер с голоду в сарае, куда его выселили после раскулачивания. Его не выслали вместе с детьми, «уважили старость». С голоду также умерли многие мои двоюродные тети и дяди, а также братья и сестры деда с украинской стороны. Сейчас политики стремятся использовать Голодомор для разжигания межнациональной ненависти, что весьма прискорбно. В русских деревнях умерло не меньше несчастных, но как объяснить это украинцам, для которых, впрочем, как и для русских, главным инициатором уничтожения собственного народа была столица России Москва. В 1988–1990 гг. я записал воспоминания некоторых, чудом тогда выживших. Никогда не забуду рассказ моей двоюродной тети Кати — украинской крестьянки — добрейшего человека, настоящей труженицы. Она была среди тех, кого спас мой дед, взяв ее под видом своей домработницы в город. В ее повествовании есть эпизод, как она в начале 1933 г. чудом спаслась от того, чтобы ее не съели соседи по селу, когда она приехала навестить мать.

В годы войны связи с родственниками с украинской стороны были потеряны, с чем тетя Катя, благодарная моему деду и бабушке за спасение в Голодомор, не смирилась и продолжала искать. В начале 1970-х гг. она приехала в Ленинград и, приложив немало труда, разыскала своих двоюродных сестер — моих теток, не раз поменявших к тому времени место жительства, а через них и мою бабушку. Её тетя Катя называла своей второй мамой и спасительницей. После этого она несколько раз приезжала повидаться, всегда с целым ворохом всяких украинских домашних изделий, с неизменными салом, колбасами и горилкой собственного изготовления. Я, кстати, тогда увлекался изготовлением вина из черной смородины, которое она одобрила.

Во время командировок в Киев я несколько раз посещал ее уютный маленький дом в районе дачи Калачева, где они с мужем Гришей умудрились в городе вести приусадебное хозяйство, снабжая продуктами не только себя, своих детей, но и многочисленную киевскую родню. Оба они стали жертвами чернобыльской катастрофы, умерли от рака через несколько лет после неё, буквально друг за другом. С их замечательными детьми, моими троюродными братом Николаем и сестрой Лидой, я виделся последний раз в 1990 г. и потерял с ними связи после распада Советского Союза, о чём всегда сожалел. Правда, один из потомков брата деда, мой троюродный брат Анатолий Богдан, разыскал меня уже после перестройки, и мы подружились. У него сильно развиты родственные чувства, и от него я много узнал о моих близких по крови на Украине. Но в наши дни троюродные братья — это все-таки очень далекие родственники, когда и родных-то не видишь десятилетиями.

У матери было три сестры; самую старшую, тетю Лиду, проживавшую в Закарпатье, я никогда не видел, а с ее детьми — двоюродными братьями Жорой и Сашей — познакомился в юности. Две другие, тетя Люся и тетя Рая, были бездетными и всю жизнь тяготели к нашей семье.

К сожалению, я практически ничего не знаю и, видимо, никогда не узнаю об обширной родне моей бабушки. Пока бабушка была жива, она переписывалась со своими многочисленными братьями и сестрами. Но мне удалось пообщаться с немногими из них. Дядя Сева был чуть старше моей матери, его родители в годы

коллективизации попали в число лишенцев. Тем не менее карьера его сложилась удачно. Он был членом Приморского крайкома партии, руководителем краевой торговли, но не нажил никаких состояний и богатств. В 1982 г. я побывал в его квартире во Владивостоке. По питерским масштабам, она была более чем скромна. По кратким встречам с ним в Москве, Ленинграде и Челябинске у меня сложилось впечатление о нем как о добром, приветливом и трудолюбивом человеке. Мы с ним долго обменивались поздравительными открытками. У его брата Володи, моего двоюродного дяди, я побывал в 1963 г. в Самарканде и тоже встретил там теплый прием и замечательных троюродных брата и сестру, но, увы, и с ними потерял связь.

О родословной отца я знаю еще меньше, чем о материнской. Я не застал в живых ни его мать, ни отца. В последнее время в Интернете мне часто встречается фамилия Колчинский, а об одной ветви мне пришлось прочитать целую статью. Все они активно участвовали в революционном движении и впоследствии были репрессированы как бывшие эсэры и меньшевики. Наиболее известен из них эсперантист Виктор Колчинский, опубликовавший в 1924 г. брошюру «А. Б. В. безнационализма». В жизни встретился только один однофамилец, да и того я заинтересовал сугубо с утилитарной точки зрения. Недавно Александр Колчинский составил список всех известных Колчинских, года три тому назад в нём было более 700 человек. Скорее всего, это всё потомки еврейской ветви, корни которой в Польше.

В Польше были еще некие Колчинские, принадлежавшие к гербу Рогалей, откуда происходит и род моего учителя К. М. Завадского. Были дворянские и купеческие династии Колчинских. Краеведческий музей в Коломне располагается в комплексе зданий купеческой усадьбы Колчинских на территории Коломенского Кремля. А. А. Колчинский служил помощником инспектора в Павловском военном училище, потом, возможно, он же был подполковником оперативного отдела Ставки, а в Гражданскую войну занимал видные посты в Добровольческой армии с «Ледяного» похода, а в ноябре 1920 г. эмигрировал, затем служил в Конго. Умер в Брюсселе в 1965 г. Близкий родственник генерала Л. Г. Корнилова, Колчинский стал душеприказчиком А. И. Деникина, подписав в 1942 г. его завещание. Были еще выходцы из казачьей станицы Колчинской на реке Яик, а какая-то дружина Колчинская входила в Особую Маньчжурскую дивизию армии Колчака. Но все они вряд ли имеют какое-то отношение к моей семье.

Отец происходил из бедной еврейской семьи. Дед Яков Абрамович Колчинский, сапожник, как все сапожники, был без сапог, т. е. полунищим, хотя работал с утра до поздней ночи. У него было шестеро детей. Отец рассказывал, что иногда яблоко они делили одно на шесть человек, а ведь жили на юге у моря, в Керчи. Дети по очереди носили башмаки, когда учились в школе. Жили они в подвале. Бабушка Мария была портнихой. Умерла она от тифа в Гражданскую войну, когда отцу было два года. У него было три брата (Александр, Моисей, Залман) и две сестры (Мирра и Рахиль). Дядей своих я никогда не видел, Александр был сердечником и умер в 37 лет, Моисей был расстрелян в 1938 г. по одному из последних сталинских списков, а Залман (дядя Зяма) пал под Сталинградом в 1942 г.

О его гибели я узнал в 1963 г., когда путешествовал по Средней Азии и в каждом городе пытался, по просьбе отца, найти его следы. Последним местом, откуда отец получил от него письмо еще до войны, был г. Ургенч в Узбекистане. Там я встретил людей, работавших с дядей Зямой и провожавших его в армию. Куда девалась

семья — жена-узбечка и двое его детей, никто не знал. На этом мои изыскания закончились. Дети дяди Моисея — Инна и Рид. Последний сыграл огромную роль в моей жизни. Он был в числе тех, кто, прочитав одно из моих интервью, настойчиво рекомендовал его опубликовать как содержащее интересные сведения о Челябинске и о философском факультете ЛГУ. Но прошло более 10 лет, прежде чем я последовал его совету.

Отца в детстве примерно до 10 лет воспитывала старшая сестра Мирра и улица. В школе он почти не учился. Большую часть времени проводил у моря, в постоянных разборках, выясняя, кто самый сильный, кто самый смелый, кто лучше всех плавает, кто глубже всех ныряет и т. д. В целом это полухулиганское воспитание в те годы было не таким уж плохим. Оно готовило к реальной жизни, приучая быть храбрым, самостоятельным, настойчивым, так как слабому приходилось плохо. Отец в те годы, когда я его знал, никого не боялся, умел в нужный момент принимать волевые решения и брать ответственность на себя, обладал быстрой реакцией на меняющиеся обстоятельства. Но порой он был склонен к бесконечным рефлексиям о прошлых поступках и высказываниях. Это выделяло его из среды того времени, когда жили в основном сегодняшним днем. Его незаурядные способности, дружелюбие, общительность, остроумие, щедрость притягивали к нему людей.

Семья отца была полностью обрусевшая, он ни одного слова не знал ни на идиш, ни на иврите. Да и в юности именовал себя Игорем, правда, впоследствии не захотел официально изменить имя. Так и жил с двумя именами: мама, бабушка и ее дочери звали его Игорем, а родственники с его стороны — Изей. Это вызывало у нас в детстве удивление. Впоследствии из уважения к отцу я и мои братья также не сменили отчество, хотя ощущали себя всегда принадлежащими к русской культуре, и поначалу мне бывало обидно, что некоторые из упертых антисемитов не желали меня признавать таковым. Сейчас мне это безразлично, ненавижу любой национализм, хотя порой великорусские шовинистские высказывания в виде шутки себе позволяю. Но это на уровне быта, а так я твердо уверен в том, что все нации равны и человечество делится только на плохих и хороших людей, хотя критерии деления у каждого свои.

Керчь, до гитлеровских и сталинских чисток, была подлинным Вавилоном. Ее население с античных времен было многонациональным. Там жили греки, итальянцы, турки, татары, евреи, таты, караимы, русские, украинцы и т. д. Насколько я могу судить, они жили дружно. Воистину здесь не было «ни эллина, ни иудея». Был просто человек. Старшие братья отца Александр и Моисей в годы Гражданской войны участвовали в борьбе против оккупантов-союзников и белых. В местном краеведческом музее в 1960-х гг. повесили фотографии родных и двоюродных братьев отца как руководителей подполья и сгинувших в годы Большого террора. Сейчас эти фотографии, наверно, сняли.

В начале 1930-х гг. отец, пережив вместе с дедом Яковом Абрамовичем в Керчи голод, уехал в Ленинград. К тому времени дядя Моисей стал здесь заведующим культурно-агитационным отделом Октябрьского райкома партии. Его первая жена Эсфирь Наумовна Родкина, как и Моисей Яковлевич, окончила Коммунистический университет им. Зиновьева, а также Институт красной профессуры. Затем она была на разных партийных должностях, в том числе инструктора обкома ВКП(б), который возглавлял в то время С. М. Киров, преподавала в Ленинградском институте

истории философии. Недавно я узнал, что дядя Моисей был связан с Н. И. Вавиловым, возглавлявшим Всесоюзный институт растениеводства, который находился в Октябрьском районе. Дядя Моисей Яковлевич даже участвовал в защите Вавилова от травли в 1931 г.

После убийства С. М. Кирова его послали в Сибирь на шахту парторгом, а затем расстреляли в Новосибирске «за участие в подготовке убийства С. М. Кирова и за связь с английской разведкой». Последнее обвинение возникло из-за того, что его вторая жена, дивная красавица Галя, окончила Институт иностранных языков и знала английский. Их дочь Инна впоследствии вышла замуж за сына одного из сталинских министров, ставшего крупным морским начальником. С ней мы общались редко, а ее сына я видел только один раз, когда он был совсем мальчиком. Сейчас он профессор физики в каком-то американском университете. Мир тесен, и случайно от своего врача-кардиолога, профессора Бориса Марковича Липовецкого, я узнал, что у моей сестры и ее сына также гиперхолестеринемия, генетически обусловленная болезнь.

Сын дяди Моисея от первого брака Рид с детства был одним из самых близких мне людей, в значительной степени определившим мою жизнь. В Ленинграде отец первоначально поселился у тети Мирры, которая к этому времени вышла замуж за ленинградца и имела сына Фрида. Другая сестра, тетя Рахиль, уехала в Ленинград вслед за своим женихом Г. М. Тетеревым, студентом Горного института, ставшим крупным геологом, причастным ко многим открытиям, в том числе и Соколовско-Сарбайского месторождения. Он одним из первых предсказал громадные месторождения нефти в Казахстане.

Отцу, уличному мальчику из провинции, Ленинград понравился, и хотя к 7-му классу он практически ничего не знал, благодаря способностям, прежде всего в области точных наук, быстро догнал, а вскоре обогнал своих одноклассников. Легко поступил в ЛИИЖТ, где встретил мою маму. По ее рассказам, у него была феноменальная память, он никогда ничего не записывал на лекциях, а во время сессий, помогая своим однокурсникам, среди которых, кстати, был и будущий первый секретарь Ленинградского обкома партии В. С. Толстиков, читал им, практически слово в слово, лекции по математике, физике и ряду инженерных специальностей. Профессора настоятельно советовали ему перевестись в университет, стать математиком, но ему это было ни к чему, он не очень понимал, что такое наука и для чего она нужна. Потом он, правда, не раз жалел, что их не послушался.

Родители окончили институт в июне 1941 г. Защита дипломов состоялась через несколько дней после начала войны. Еще до этого они получили распределение на Урал, куда и выехали незадолго до начала блокады, забрав бабушку с собой. Первый год было очень тяжело. Пока не дали казенные кровати с досками, спали на полу, ели на чемоданах. Вещей для обмена на продукты не было. Ели картофельные очистки, которые бабушка молола и делала из них лепешки. Весной из блокадного Ленинграда привезли мамину сестру тетю Люсю и Марка Наумовича — мужа сестры отца — тети Мирры, и пришлось всем жертвовать ради того, чтобы их выводить. С ними жила и вторая мамина сестра тетя Рая, которая только что схоронила своего молодого мужа, умершего в армии. Но бабушка на следующий год завела огород на пустынной территории, которую им выделили в 15 км от дома, где они жили. Туда она почти каждый день ходила пешком, полола, рыхлила, поливала и на

удивление всем на бесплодной земле вырастила богатый урожай. Вскоре отца перевели в Карталы, и там им предоставили возможность завести настоящее подсобное хозяйство с коровами, овцами, свиньями, курами, утками. Все это содержала главным образом бабушка. Благодаря ей я никогда не знал, что такое голод.

«Уличные» университеты отца и борьба с мещанством при советской власти приучили с презрением относиться к достатку, уюту, собственности. К спартанскому мироощущению, возможно, его подвигала и судьба родных и двоюродных братьев. Некоторые из них погибли на фронтах Отечественной войны, а тем, кто успел сделать блестящую карьеру при советской власти (комдивам, комбригам, секретарям райкомов, губкомов и даже республиканских ЦК, правда комсомола), не довелось в ней участвовать. Все они погибли в сталинских репрессиях. Когда отцу на комсомольском собрании в ЛИИЖТ предложили выступить с осуждением старшего брата, он отказался, сказав, что не может поверить в его вину, пока ему не предоставят доказательства. Его исключили из комсомола за недоверие к «славным чекистам». Был готов приказ на отчисление из института. Но Моисей Яковлевич, как я говорил, попал в один из последних списков, подписанных И. В. Сталиным и В. М. Молотовым 10 июня 1938 г. Вскоре сняли Н. И. Ежова, наступила «либерализация» по Берии, уже «сын за отца не отвечал», а брат тем более. Приказ отменили. Отца оставили в покое и дали окончить институт.

Челяба — разговорно-простонародное название г. Челябинск, где я вырос и который считаю родным. По одной из версий, этот топоним восходит к существовавшему здесь башкирскому поселению Селеби, что значит «царевич», «образованный», «могучий» и т. д. На поле Куликовом соперником Пересвета был Челубей.

Но родился я в Карталах. Это и сейчас небольшой город с населением менее 40 тысяч человек на реке Карталы-Аят в степях Южного Урала на полпути между Челябинском и Магнитогорском. Я его не помню. После школы, работая в изыскательской партии, я там бывал, но никакие чувства не проснулись во мне около дома в Карталах, в котором я прожил три года. Из ранних воспоминаний я не знаю, что относится к Челябинску, а что к Карталам. Например, караван верблюдов, на которых сидели какие-то необычные люди, видимо казахи, скорее всего, я видел в Карталах. Ведь Карталы располагались на их бывшей территории. Правда, караваны верблюдов доходили и до Челябинска. Не случайно верблюд расположен на его гербе. В 1947 г. отца назначили начальником строительного участка в Челябинске, где я прожил до 1964 г. Фактически его я считаю своим родным городом.

Челябинск, основанный в 1736 г. как маленькая сторожевая крепость на восточном склоне Уральских гор в 200 км южнее г. Екатеринбурга на реке Миасс, долгое время оставался провинциальным уездным городом. Улица, застроенная стандартными купеческими домами, где сейчас расположили главную достопримечательность города — пешеходную улицу, на которой как-то В. В. Путин пил пиво, была короткая, несколько сотен метров. Бурно город стал расти, когда недалеко от центра была построена станция Транссибирской магистрали, появились промышленные предприятия, вокруг них рабочие слободы. В Гражданскую войну город несколько раз переходил из рук в руки, и многие жители ещё помнили, как зверствовали в рабочих слободах колчаковцы и казаки генерала А. И. Дутова. Увы, тогда мы еще не знали, что подлинный патриот России не может обойтись без массовых расстрелов, виселиц и порок. Таковы были любимые герои российской истории: Иван Грозный, Петр I, Николай I, Александр III, И. В. Сталин и др. Они умели делать народ счастливым и преисполненным гордости за любимую Родину. А кто не хотел быть счастливым, тех пытали огнем, колесовали, вздергивали на виселицах, били палками или обращали в лагерную пыль. Мы можем гордиться своими великими правителями. На самом деле так поступать их заставляла не любовь к родине, а животный страх за собственное существование, который каждый из них не раз проявлял в критические моменты.

Когда в начале 1930-х гг. Сталин «форпост индустриальный бесстрашно двинул на восток», индустриализация пришла и в Челябинск. Ценой гибели многих заключенных и непосильным трудом вольнонаемных был создан один из первенцев

«сталинских пятилеток» — Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) и некоторые другие крупные предприятия. В итоге население выросло до 200 тысяч человек. Другим гигантом города стал Металлургический завод (ЧМЗ), построенный в ударные сроки в первые годы войны. При этом погибло более 50 тысяч заключенных и рабочих трудармии. Сейчас на месте их захоронений сооружен мемориальный комплекс — католический костел и стела с Христом. Во время войны в город были эвакуированы десятки заводов с европейской части страны, многие там и остались вместе с приехавшими с ними рабочими и инженерами. В итоге город стал крупным центром металлургии, машиностроения и металлообработки.

Во времена моего раннего детства там проживало около 500 тысяч человек. Город был очень разбросан, с высокой концентрацией населения вокруг заводов-гигантов — ЧТЗ, ЧМЗ, Челябинского электрометаллургического завода, Трубопрокатного, Калибровочного, Радиозавода и т. д. Все они были окутаны клубами дыма, а вокруг Цинкового и Лакокрасочного заводов атмосфера была сизо-желтая, а запах столь резкий, что трудно было дышать, и, проезжая, люди закрывали окна и зажимали рот. В обиходе различные части города назывались по заводам, и связь между ними была минимальная. Так, до ЧМЗ надо было ехать на трамвае более часу, примерно 20 км. Между заводскими агломерациями нередко были большие пустоты. Каменных домов было мало, чуть больше в центре, на ЧТЗ, ЧГРЭС и ЧМЗ. Немного было и добротных деревянных домов дореволюционной постройки. Зато везде были разного рода «Шанхай», «Колупаевки», «Мухоморовки», «Кирсарай», поселки внутри города, где люди десятилетиями жили в бараках, старых вагонах, халупах и даже землянках. Лишь с конца 1950-х гг. началось массовое строительство. Все это порождало крайнюю нищету и высокую преступность в городе.

Было две церкви: каменная в Заречье и деревянная на вокзале, разобранная во времена хрущевской антирелигиозной кампании. В других бывших каменных храмах были размещены краеведческий музей и планетарий. Только сейчас их реставрировали, возвратив прежний вид, установили кресты на куполах, и они засверкали так, как блистали до революции.

Основным видом городского транспорта был трамвай, связывающий все районы города, он был забит, но транспортной проблемы не было. Основная масса жила вблизи работы. 4–5 остановок до работы — считалось очень далеко. В начале 1950-х пустили первую линию троллейбуса, и пацаны любили кататься на коньках, прицепившись к нему, а то и на колбасе. Автобусы, по-моему, появились позднее. Машин было мало, особенно легковых, а в очередях на них стояли десятилетиями. Велосипеды были далеко не у всех, а мотоциклы, а потом и мопеды считались роскошью. Владельцам частных машин было нелегко, так как родственники, друзья и знакомые часто обращались с просьбой о помощи, а отказывать было не принято, можно было прослыть индивидуалистом и жлобом. На первых порах преобладали трофейные машины, затем появились первые «Москвичи» и, наконец, «Победы». В городе было всего три «ЗИМа», на которых, говорили, ездили первый секретарь обкома, директор ЧМЗ и батюшка. Число личных машин резко возросло в 1956 г. Хрущев начал кампанию по ликвидации персональных машин, которые было предложено выкупить начальству в рассрочку с учетом амортизации. Отец не захотел этого делать и вместо персональной «Победы» стал ездить на «ГАЗ-69», легковом автомобиле повышенной проходимости. Он

оказался более удобным в повседневной деятельности, и отец в дальнейшем отказывался от легковушки, когда борьба с персональными машинами закончилась и их стали многим возвращать.

Наряду с отечественными полуторками, в том числе и с дровами в качестве топлива, встречались американские студебекеры, полученные по ленд-лизу. Позднее появились двухтонные «ГАЗы» и трехтонные «ЗИСы». Все они часто глохли, и приходилось подолгу крутить, чтобы завести. Асфальтированных улиц было мало, встречалась булыжная брусчатка, выложенная пленными немцами. Они же построили в городе немало двухэтажных деревянных домов, стоящих и по сей день. Остальные улицы в дождь превращались в труднопроходимые болота, в которых нередко застревали машины, а для прохожих сбивали деревянные тротуары. Машины застревали и за городом, и постоянно приходилось помогать шофёру, откапывать колеса, то подкладывать под них ветки, то просто толкать машину. Зимой и в грязь на колеса грузовых машин надевали цепи, что сказывалось на их скорости и управляемости. Нередко на вытаскивание машин из грязи уходила едва ли не большая часть поездки. Не меньше сложностей было зимой. Снега всегда было очень много, а после метели железнодорожный и городской транспорт замирал. Тогда всех взрослых мобилизовывали на снегоуборку. Основной транспорт был гужевой. На лошадях возили не только товары (зимой на саниах, а летом на телегах), были еще и пассажирские брочки. Правда, они как-то быстро исчезли.

В детстве город выглядел грязно и неопрятно даже в центре, не говоря уже о разного рода «Шанхаях» и барачных поселках. Но и в благополучных районах, где из многих домов были выселены прежние владельцы, а новые жильцы рассматривали их как временное прибежище и не ремонтировали, целые кварталы приходили в ветхость. Да и как-то не принято было заботиться о жилье, считалось, что раз оно ведомственное, то пусть государство заботится о нём. Жильцы ограничивались побелкой потолка и стен. Материалы для ремонта можно было выписать только на производстве. В итоге много домов было покосившихся, по окна вросших в землю. Под стать им были заборы, полуповаленные, составленные из досок разных видов и размеров.

Летом пыль, зной, грязь, мухи, зелени мало, из деревьев только тополя, масса кустарников акации, цветы и стручки которой мы пожирали в огромном количестве. Из стручков делали также свистульки. В грозу обожали носиться под дождем, промокая до трусов. Правда, летом они чаще всего были единственной одеждой. Осень наступала рано и быстро. Небо было темное, все в полыханиях молний, с холодными дождями, сильными ветрами. В такую погоду из дома выходить не хотелось. Иное дело зимы. Они были холодные и снежные. Нам приходилось огромными деревянными лопатами очищать от снега проезжую часть дороги и территорию перед домом, делать дорожки во дворе. В итоге зимой везде были огромные сугробы до 2 м высотой, в которые мы прыгали с крыш домов, за что нас наказывали. Оттепели были редки, а весна начиналась внезапно и дружно в 20-х числах марта. После таяния снегов обнажались груды накопившегося за зиму мусора, золы, экскрементов бродячих собак, а порой и прохожих — нравы тогда были просты, а общественных туалетов не было. Весь город покрывался потоками ручьев и целых рек, и наша задача была их чистить, чтобы обеспечить ток талых вод со двора. Их потоки были столь мощны и глубоки, что я однажды чуть не утонул в одном из них прямо перед

домом, так как бабушка заговорила с почтальоном. К середине апреля практически все, как правило, было кончено, а вскоре появлялась первая трава.

В жестко закономерной череде сезонов в зоне резко континентального климата, когда зима была зимой, а лето летом, виделась какая-то высшая мудрость природы, не подвластной людям. Правда, с утра до вечера радио вопило: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё наша задача». Но видно было, что природные стихии уж точно не подчиняются властям.

Водопровод был в немногих домах, воду брали в колонках, которые иногда стояли далеко. Грунтовые воды залегали глубоко, породы были скалистые, и колодцев я не помню. Воды для полива было мало, и на огородах выращивали стандартный ассортимент овощей: тыкву, свеклу, репу, брюкву, морковь, огурцы, лук, чеснок. Щавель, укроп, петрушка и сельдерей долго выглядели экзотикой, а тем более помидоры, которые, кроме нас, никто по соседству не выращивал. Кроме малины и яблонь ранеток, не было никаких ягодных кустарников и фруктовых растений. Даже садовая земляника была диковинкой. Считалось, зачем ее выращивать, если летом на вырубках за несколько часов мы лесную, более ароматную, собирали ведрами.

Культурно-развлекательных заведений в городе было немного: филармония, драматический и кукольный театры, а с 1955 г. Театр оперы и балета им. М. И. Глинки с молодежной труппой. На зиму в город на несколько месяцев приезжал цирк, посещение которого надолго оставалось в памяти. Освещенная арена, гремущая музыка, клоуны и, конечно, дрессировщик с экзотическими зверями — одно из самых ярких впечатлений моего детства. Под влиянием одного из таких посещений в 6 лет у меня появилась мечта быть дрессировщиком, и я с увлечением дрессировал своих старших братьев и младшую сестру. Как ни странно, они подчинялись и играли зверей. На лето приезжал зверинец, в котором зверей держали в узких клетках, а бедный верблюд стоял под таким низким навесом, прячась от холодного дождя, что его горб наполовину был согнут. При многих заводах были дворцы культуры, где действовали бесплатные кружки, спортивные секции. Но у старших детей, как правило, не было времени на досуг — надо было зарабатывать на жизнь. Далеко не все получали даже семилетнее образование. С середины 1950-х гг. строительство подобных центров культуры, а также стадионов, новых школ пошло интенсивно.

В начале 1950-х гг. на месте бывшего кладбища, расположенного в центре города между зданием Управления Южно-Уральской дороги и главным кинотеатром города им. А. С. Пушкина, стали копать фундаменты под каменные дома. Недалеко была наша школа, и в начальных классах мы бегали смотреть, как экскаваторами разрывают могилы, а полуистлевшие гробы и кости грузят в самосвалы. Вечерами, когда работа затихала, мы пробирались на площадку и собирали разбросанные части скелетов; особенно ценились черепа, но мы не брезговали и другими останками. Этими трофеями мы потом хвастались друг перед другом, менялись и т. д. Сейчас трудно поверить, что это могло происходить в цивилизованном государстве, но таков был дух времени, не ценившего самих людей, а тем более их бранные останки. Не удивительно, что у моих сверстников это варварство не то что забыто, но большинством вспоминается с трудом. Не хочется вспоминать, что наши дома стоят на костях, а мы были причастны к святотатству.

С юга к городу примыкал огромный сосновый массив, часть которого была огорожена и названа Парком культуры и отдыха, вход в который вначале был платным,

как и в Горсад, расположенный в центре города, — одно из главных мест тусовок полублатной публики, особенно на танцевальной площадке и в бильярдной. Там же был и каток, на который собиралась обычная молодежь. Там же зарождались первые романы. Летом по вечерам в Горсад лучше было ходить группами, иначе быть битым. Позже, во второй половине 1950-х гг., как и во всех городах, появился Бродвей. Им стал Спартак — главная улица в центре, переименованная вскоре в улицу Ленина. Точнее, было два Бродвея — главный, где доминировали бригады содействия милиции (бригадмил) и якобы стилиаги, и просто Бродвей, где собирались обычно старшекласники и студенты, но где были свои «авторитеты». К их числу какое-то время относился и я, впрочем, без особых подвигов и заслуг со своей стороны, так как особым мастерством в драках не прославился.

За время работы на Детской железной дороге у меня появилось много приятелей из разных районов Челябинска, где, считалось, живет одна шпана и хулиган хулиганом погоняет. Во всяком случае, пацаны из центра ходить в эти районы опасались, так как редко кто мог оттуда вернуться непобитым. О моей дружбе с ребятами из неблагополучных районов было известно другим юным железнодорожникам из нашей школы, что придавало мне некий ореол способности в случае разборок привлечь какие-то могучие силы отпетой шпаны. Кроме того, среди моих друзей были одни из самых авторитетных в то время обитателей нашего района: Коля Соколов (Сокол) и Аркадий Малешин (Аркан), что сразу создавало своего рода защитный пояс вокруг меня. Они же ценили меня за то, что, по их мнению, я не ведал страха и никогда в самых опасных ситуациях никого не бросал. На самом деле страх был, только страх показаться трусом был ещё сильнее. Однажды это меня чуть не погубило из-за инцидента, происшедшего во время разборок с забредшими на Малый Бродвей бригадмилцами, который закончился без драки. Увидев Аркана, который был чемпионом РСФСР по боксу среди юношей, они ретировались на свою сторону Бродвея. Привыкшие безнаказанно избивать каждого, кто им не нравился, они не могли пережить подобного унижения. И, встретив меня во время гуляний на площади 7 ноября 1959 г., они предложили пойти «поговорить» в соседний сквер. Их было пятеро, я один, но, зная некоторых из них лично, я надеялся, что все закончится в худшем случае обменом ударами, как это было принято в подобных случаях. Все случилось по-иному. Как только мы оказались в безлюдном месте, один из них сзади сбил меня с ног, и они стали меня избивать ногами по голове, я потерял сознание. Сколько они меня били и сколько я пролежал, я не помню, но, когда очнулся, они уже были далеко. Как сейчас перед глазами стоит картина: пустынная дорожка, засыпанная девственно чистом снегом, выпавшим только что, а в лунном свете удаляются фигуры моих обидчиков.

С трудом я поднялся, дошел до своего двора. И еще долго сидел там в беседке с ребятами со двора, отвергая их советы немедленно пойти и расправиться, понимая, что с подонками, связанными с милицией, лучше этого не делать. Родители мои были в отъезде, и к помощи я прибегнуть не мог, да и не стал бы, так как прибегать к официальным каналам в подобных случаях было «западло». Бедная бабуся три дня не отходила от меня, меняя мокрые полотенца. На молодых заживает быстро, как на собаке. Через три дня практически не осталось и следа, но вот память у меня с тех стала портиться. Часть из избивших меня вскоре села, другим тоже пришлось несладко. В итоге история способствовала росту моего личного авторитета. Мир

живет мифами, а в этом возрасте особенно. Позднее при каких-то разборках мне приходилось слышать: «Ты Колчака знаешь, я ему скажу, он тебе даст». Иначе говоря, меня мной же и стращали. Миф этот оказался долговечным, я подобное слышал, когда уже несколько лет жил в Ленинграде и давно отошел от увлечений молодости. Вероятно, «кликуха» была удачной и легко запоминалась.

Хождение в магазины было одной из моих главных обязанностей с детства. С хлебом было плохо до 1953 г. Очередь занимали за 2–3 часа до его привоза. Мы, пацаны-малолетки, изнывали в ожидании, играли, убегали, а потом не всегда можно было доказать, что ты здесь стоял. В одни руки давали ограниченное количество буханок черного и пшеничного хлеба, который был необыкновенно вкусный, ароматный; впоследствии мне такой хлеб приходилось есть только в деревне, в Костромской области. Муку до 1954 г. продавали только перед праздниками, в одни руки, по-моему, давали только два килограмма, и очередь надо было занимать с вечера, что запрещалось. Периодически приходил милиционер и разгонял собравшихся, а потом оказывалось, что существовало несколько очередей, записанных в разное время, и, естественно, споры, драки. Надо было доказать, что вместе с тобой стояли братья и соседи. Как обстояло с молочными продуктами, сказать не могу. У нас до 1956 г. они были свои, а потом уже до конца 1970-х гг. их можно было купить в магазине в неограниченном количестве. Но, видимо, раньше их не было в магазинах, так как некоторые соседки покупали молоко у бабушки, и не всем хватало.

Вот с яйцами и маслом всегда было напряженно, и их обычно родители привозили из командировок. Мяса же в магазинах я вообще не помню, а в специализированном местном магазине иногда торговали субпродуктами: почками, сердцем, легкими. Помню, перед столетним юбилеем В. И. Ленина завезли «деликатес» — коровье вымя, а неблагодарный народ не мог оценить заботу и возмущался: мол, что за коровы пошли с одним выменем. Правда, на рынках мясо было, а до середины 1950-х гг. оно стоило даже дешевле, чем в государственных магазинах. В центральном магазине можно было купить красную рыбу и красную икру за смешную цену — 30 рублей, но, видимо, для многих, и эта сумма была недоступна, ведь зарплаты в городе начинались с 200 рублей, а выше — это считалось неплохими заработками. В деревнях же не платили ничего. Мама с многолетним стажем и дипломом инженера, редким в те годы, работая в Управлении железной дороги, получала около 1000 рублей. Хорошо платили шахтерам, но гибли они со страшной скоростью. Относительно высокие заработки были у металлургов, но жаждавших работать в этом аду было не так уж много.

Для того чтобы эти цифры были понятнее, назову по памяти некоторые цены в период 1954–1960 гг., т. е. до хрущевской денежной реформы, когда закупки в продуктовых магазинах входили в мои обязанности: 1 кг хлеба стоил 2 рубля, мяса — 16 рублей, масла — 21 рубль, сахара — 9 рублей 40 копеек, сметаны — 15 рублей, колбасы вареной — 17 рублей и т. д., литр молока и других молочных продуктов — 3 рубля. Водка, «сучок», «сивуха» и т. д. стоила 21 рубль 20 копеек, «Московская» за 23 рубля 70 копеек считалась роскошью, и немногие могли её себе позволить. С 30 рублей начинались различные марки коньяка, но их практически никто не пил, считалось, что они пахнут клопами; различные портвейны, кагоры и т. д. стоили 12–16 рублей. Папиросы начинались с 45 копеек: «Дымок», «Бокс», «Спорт» и заканчивались «Беломором» — 2 рубля 20 копеек, а дальше баснословно дорогой

«Казбек» — 3 рубля 50 копеек, сигареты «Тройка» с золотой полоской 4 рубля, а мажорочные сигареты 60 копеек. Но не все могли себе и это позволить и крутили из газет самокрутки. До 1950 г. цены были гораздо выше, но в период 1948–1953 гг. они снижались каждый год 1 марта в среднем на 10–20 %, кроме того, тогда же происходило сезонное снижение цен на молочные продукты. Последнее снижение произошло 1 апреля, то ли 1953, то ли 1954 г. И люди любили подчеркивать: вот при Сталине жизнь становилась все лучше, цены каждый год снижали, — забывая, что в 1947 г. перед отменой карточек эти цены были увеличены одним махом в несколько раз, а затем их и стали снижать.

Тем не менее в столовой можно было пообедать за три рубля (суп, котлеты и кисель), кое-где хлеб и квашеную капусту давали бесплатно. В немногочисленных кафе цены были не намного выше. В ресторане на 20–30 рублей можно было хорошо выпить и закусить. Кстати, насчет выпивки. Хотя водка продавалась в розлив и без наценки практически в каждом киоске, а в дни рождения и в праздники было принято собираться и крепко выпивать, пьянство не носило масштабного характера, так как все должны были работать, а недисциплинированность считалась уголовным преступлением. Законодательной власти тогда было не до культуры питания, которой ныне озабочены депутаты всех уровней, повышая акцизы на спиртное.

Досуг тогда был примерно одинаковый у всех, кого я знал в раннем детстве. Родители в воскресенье выезжали с сотрудниками за город на пикники в лесу, у речки или у озера, а иногда собирались в городском парке. Новый год встречали в складчину, оставляя детей с бабушками или на попечении соседей. Отмечали также дни рождения, 1-е Мая и 7-е Ноября. За столом было принято петь, танцевали под патефон и аккордеон, плясали под гармошку. В итоге: «выпьешь ты немного, станешь у порога, пол начнешь топтать под патефон». Среди песен в компании в начале 1950-х гг. встречались официозы типа того, что сыны России ей «верны и Сталину любимому», что «золотыми буквами мы пишем всесоюзный сталинский закон» и что неизвестна ни одна другая страна, где «так вольно дышит человек». Причем пели искренне, в том числе и те, от которых я позднее узнал, что они всегда ненавидели Сталина. То ли стадный инстинкт сказывался в тот момент, то ли музыка заглушала подлинные чувства. Но тем не менее доминировали песни о рябине кудрявой, бродяге, переплывшем Байкал, замерзшем в степи ямщике, кочегаре, вышедшем на палубу, которой уж нет, и т. д. Затем всякие официальные песни исчезли из частного репертуара, их можно было услышать только по радио и на концертах.

Большая часть населения не очень полагалась на государственное снабжение, при домах у многих были огороды, держали кур, гусей, индюков, а если была возможность, и свиней. Проживавшие в немногочисленных каменных домах старались посадить хотя бы картошку, для этого на производстве выделяли землю и по возможности обеспечивали транспортом для коллективных выездов. Также совместно на грузовиках выезжали в лес для сбора ягод, грибов, а иногда ловли раков и рыбы. Озера и реки вокруг Челябинска кишели ими. За час-два на озерах Кисегач или Чебаркуль любой мог собрать ведро раков. Они водились даже на реке Миасс, которая была уже загрязнена бытовыми и промышленными стоками. Молочные продукты покупали у соседей, хотя держать коров в городе, конечно, было очень тяжело.

Одним из главных источников снабжения были рынки, из которых я знал тогда два: Центральный и Зеленый. Последний был в Заречье и по тем временам считался

очень далеким. Туда надо было идти минут двадцать. На рынке, казалось, можно было купить все, кроме хлеба и водки, на которые была монополия. стакан мелкой лесной опьяняюще пахнущей клубники стоил 50 копеек, остальные ягоды 1–3 рубля. Ее мы сами собирали ведрами во время коллективных выездов на грузовиках на природу, на свежие вырубки. Брат Юля предпочитал собирать клубнику лежа, так ее было много. С позиций сегодняшнего дня особенно удивительными кажутся грузовики, полные рыбы, в основном карасей, распродаваемых по низкой цене, 3–4 руб. за килограмм. Вообще, рынки процветали, так как задавленные налогами крестьяне вынуждены были торговать продуктами, произведенными в личных хозяйствах.

Иногда ездили в деревни закупать продукты, где колхозники готовы были за копейки продавать все, что производили после работ на колхозных полях. Там царила жуткая нищета. Во многих домах, кроме лохмотья на лавках и картошки в подполе, ничего не было, так как всю живность и даже плодовые деревья облагали налогами. В деревне практически не было мужчин, а случайно уцелевшие в войне, как правило, были искалечены. Всю тяжесть изнурительного крестьянского труда несли женщины и подростки, которые затем уходили в армию, а после завершения службы почти поголовно оставались в городах. В армию шли с радостью. Для большинства мужчин она была фактически единственной возможностью спастись от крепостного рабства советской деревни. О городской жизни мечтали и остальные, но их насильно удерживали на селе, у них не было даже паспортов. Во второй половине 1950-х гг. вышло послабление. Экстенсивная индустриализация требовала рабочих рук, труд заключенных оказался неэффективным. Деревенская молодежь хлынула в город. Местные власти старались им всячески мешать, а пропагандисты отговорить, воспевая прелести труда в коллективном хозяйстве. В 1964 г. бездарный роман О. Гончара «Тронки», призывавший молодежь не покидать село, даже получил Ленинскую премию, победив в конкурсе повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — бестселлер тех времен, одобренный самим Н. С. Хрущевым. Такова цена многих премий.

Основную часть населения Челябинска составляли ссыльные, переселенцы, эвакуированные. Коренных жителей было немного, в основном башкиры и татары, да и то преимущественно в сельской местности. Они соблюдали национальные традиции. Когда возникали какие-то бытовые стычки, мои товарищи с Мельзавода говорили: «Зачем татары приехали сюда?», по наивности считая коренными жителями Урала денационализированное русскоязычное население, оказавшееся здесь, как я сейчас понимаю, чаще всего в результате страшных трагедий, разломавших их судьбы. Много было высланных немцев, которые жили компактно, в районах, прилегавших к ЧТЗ и ЧМЗ. Бывшие ленинградцы, эвакуированные в годы войны, прежде всего с Кировским заводом, также остались здесь в большом количестве, составляя основной контингент, посещавший театры. Вместе с эвакуированными рабочими и инженерами Харьковского тракторного завода они влились в состав ЧТЗ.

И здесь я позволю себе небольшое нарушение хронологии. Впоследствии мне не раз приходилось сталкиваться с аналогичной невинностью в вопросах о коренных и приезжих народах. Однажды меня попросили выступить с сообщением о вкладе евреев в российскую науку на вечере, посвященном Иерусалимскому университету.

Я долго пытался увильнуть, так как считаю подобные проблемы надуманными, ведь судьбы еврейских ученых в России ничем особенно не отличались от судеб представителей других национальностей. Однако организатор этого мероприятия, кстати чистокровный русский, много делал полезного для петербургской науки, не раз помогал мне, да к тому же я его знал со студенческих лет как порядочного и умного человека. Передо мной с приветственным словом выступал один из вице-губернаторов Санкт-Петербурга, кстати, также мне давно известный и уважаемый мной человек. Тем не менее я не смог пропустить его высказывание о том, что Санкт-Петербург всегда был и остается интернациональным городом, в котором и сейчас проживает более 500 тысяч человек некоренной национальности. В начале своего доклада я сказал, что с подобными высказываниями надо быть поосторожнее, так как из них следует, что в нашем городе проживает более 4 миллионов угро-финнов, которые еще во времена Пушкина считались коренными жителями Петербургской губернии. Увы, на земле нет коренных народов. Даже Адам и Ева пришли сюда, будучи выгнаны из рая. Думаю, если бы мы это поняли, то мир и покой воцарились бы на земле. Но нам, потомкам агрессивных обезьян, видимо, не дано обрести эту истину, и мы обречены лить потоки крови за «исконные земли». Современная Украина тому пример.

Большая часть подростков после семилетки шли в ПТУ или на работу. Десятилетнее образование, которое до середины 1950-х гг. было платным, не многие могли себе позволить, а высшее образование долго казалось недостижимой мечтой. На инженерных должностях мастеров, прорабов, механиков, архитекторов еще долго сидели практики, имевшие порою 5–7 классов образования, что, впрочем, не мешало им быть прекрасными специалистами.

По главной улице Челябинска — Спартак, на которой мы жили в маленьком доме и по которой ходили коровы, до середины 1950-х гг. ежедневно колоннами шли грузовики, сопровождаемые автоматчиками, отделенными от остальных в кузове железной решеткой. Мы спрашивали взрослых, кто это такие, но они предпочитали отмалчиваться. Народ жил очень бедно. До середины 1950-х основная часть жителей города ходила в фуфайках, кирзовых сапогах (хромовые считались шиком и роскошью), в валенках или в форменной одежде. Вообще, в моих детских впечатлениях преобладают серый и черный цвета в одежде у большинства населения, темно-синий зимой и белый летом — в форме железнодорожников, а также защитный цвет гимнастеров и темно-зеленый цвет военных мундиров. Выделялись синие фуражки сотрудников МВД.

У детей, старше меня, редко были отцы. Послевоенная безотцовщина. Многие из них голодали и с детских лет промышляли воровством. К 4-му классу кое-кто из моих одноклассников уже имел ходку в детские колонии. В старших классах я подружился с ребятами с Мельзавода. Почти все их старшие братья имели судимости. Тюрьма и лагерь для них были своеобразными университетами жизни, своего рода экзаменами на зрелость, более неизбежными и строгими, чем армия. «Срока» им тогда давали огромные — по 10–15 лет за украденные часы. Но преступность от этого долго не становилась меньшей.

Поздно вечером ходить было опасно, были грабежи, случались и убийства. Дети вне школы были предоставлены самим себе, а вечерами большинство кучковалось на улице. В транспорте были активны карманники, но иногда с ними расправлялись жестко, выбрасывая на полном ходу под колеса проходящей машины. Но и устра-

ивавшие самосуд рисковали: как правило, карманник был не один, и можно было поймать «перо (финку) в бок» или «бритвой по глазам» — половину лезвия зажимали между двумя пальцами, так что нападение было совершенно неожиданным для жертвы. Но мужики, многие из которых прошли фронт, не слишком боялись. Естественно, в подобных условиях культивировалась «блатная» романтика с ее неизбежной оппозиционностью властям. Не случайно в песне тех лет звучало: «И ревели, стонала Челябин — пересыльная, злая тюрьма».

С появлением бригадила (БСМ — бригад содействия милиции), наводившего порядок незаконными методами, избивая задержанных, стихийное хулиганство пошло на убыль. Они формировались из якобы направляемых комсомольцев. На самом деле туда шли юноши, занимавшие невысокий статус в классе, в школе, во дворе, и бригадил им был нужен для самоутверждения. В бригадмиле оказывались лица, имевшие склонность хватать людей, выкручивать руки, выворачивать карманы, обыскивать, грабить пьяных, тащить в пикет, избивать задержанных и т. д. Милиция в подобных действиях не участвовала, не вмешиваясь, пока не поднимался скандал из-за того, что ретивые молодцы избивали до полусмерти человека со связями. В конечном счете, самих бригадильцев сажали. На смену им приходили такие же полубандитские, хулиганские формирования, действовавшие под прикрытием комсомола и милиции. Бригадильцы не пользовались уважением, ходили кучами, били также соборно, всей бригадой. Помню строки переделанного танца: «Бэсэмэ, Бэсэмэ — в кучу, жулик один, а их миллион». Но вот настоящих авторитетов они, как правило, не трогали, зная, что могут нарваться на выстрел или нож.

Затем появились народные дружины, в рейды которых отряжали с работы, давая отгулы, но все равно участвовали в них неохотно, ведь сотрудничество с правоохранительными органами не приветствовалось. За исключением участковых милиционеров, которых действительно знал свой участок и к которым часто обращались для решения возникавших проблем, к остальным милиционерам относились с опаской, именуя «ментами», «мусорами». Но их тогда было немного. В народные дружины посылали взрослых людей, с нормальным содержанием адреналина в крови, и об эксцессах с их участием не было слышно. Несколько раз пришлось и мне дежурить вместе с руководителями Дорпроекта. Не помню ничего чрезвычайного, кроме услышанных рассказов о Челябинске в военные годы, которые были крайне интересны. Один раз пришлось участвовать в ночной облаве, разыскивая по подвалам, чердакам, заброшенным домам бичей (бывший интеллигентный человек) и бомжей (без определенного места жительства). Был очень удивлен, как много в городе живет на улице людей без прописки, не работавших, считавшихся тогда тунеядцами и подлежащих тюремному заключению на срок от 3 до 5 лет.

С улицы часть хулиганствующей молодежи ушла не только из-за карательных мер: открывались вечерние школы, строились новые кинотеатры, создавались спортивные секции, улучшались жилищные условия. Все больше людей заканчивали среднюю школу, поступали в один из четырех институтов, традиционных для любого областного центра тех времен: педагогический, сельскохозяйственный и медицинский, а также политехнический. В силу разных причин коллективы преподавателей были сильными, хотя кандидатов, не говоря уже о докторам, можно было пересчитать по пальцам. Сыграла положительную роль и кампания «исправленно му верить», призывавшая брать на поруки коллектива оступившихся первый раз

и помогать вышедшим на свободу. В какой-то степени она помогла вернуться к нормальной жизни тем, кто оказался на зоне или в тюрьме по молодости или в силу несчастливого стечения обстоятельств. Среди моих знакомых и даже друзей были такие, кто попал в тюрьму из-за драк.

В послевоенное десятилетие было много нищих, они сидели на всех перекрестках центральных улиц, на вокзале, ходили по вагонам и домам, довольствуясь и куском хлеба. Бабушка и мать всегда посылали нас дать что-нибудь, приговаривая: «От сумы да от тюрьмы не зарекайтесь», — возможно, вспоминали судьбу деда. К дому приходили кустари-рабочие, предлагая вставить стекло, наточить ножи, ножницы, запаять кастрюлю, купить старые вещи, старые кости, макулатуру и т. д. Переполах вносили фургоны, в которых отлавливали бродячих собак. Вокруг «собачников» собиравались толпы пацанов, старавшихся спасти своих уличных любимцев.

Много было будок сапожников и чистильщиков обуви, которые сидели и в морозные дни. Цыгане еще продолжали вести кочевую жизнь, и их таборы нередко можно было встретить вокруг города. По слухам, они занимались казнокрадством, воровством вещей и даже якобы маленьких детей. Но лично я видел их только за привычным гаданием и обдуриванием тех, кто сам был готов, чтобы его дурили. Свято место пусто не бывает. Теперь дурением с утра до вечера занимаются центральное радио и телевизионные каналы типа «РЕН». Прогресс налицо. Мужчины же в таборах занимались кустарным промысловым делом: ковали, паяли, лечили скот и т. д. После указа о переходе к оседлой жизни они стали набирать ссуды и для строительства домов получали материалы, которые сразу продавали и откочевывали в соседние области, где повторяли ту же операцию. Все это знали, но вынуждены были помогать цыганам, якобы выражавшим желание покончить с кочевой жизнью. В противном случае это могло быть истолковано как неисполнение партийно-правительственных постановлений.

Впоследствии я всегда удивлялся, сталкиваясь с тоской о порядке при «хозяйне» И. В. Сталине. Конечно, коррупции не было, так как «руководящие кадры» тасовались. Проверенных людей, прежде чем расстрелять, бросали с одного «фронта» (сельскохозяйственный, строительный и т. д.) на другой, переводили в другие области. Преступные группировки чиновничества не успевали организоваться. Но, судя по барахолкам, воровство на производстве не было изжито, а воровство в сфере торговли процветало, хотя продавцов действительно часто сажали. Общее ощущение того времени — чувство разорения, нищеты и тотального беспорядка. Кучи мусора на пустырях в центре города, хаос на строительных площадках и многолетние долгострои, свалки в цехах и на заводских территориях, нерегулярное движение поездов, с опозданиями, исчисляемыми сутками, разговоры об авариях на железной дороге, в шахтах и на заводах с десятками и сотнями жертв, об опрокинутых в кюветы грузовиках, а то и самосвалах, с пассажирами в кузове (сам не раз так ездил, хотя это было категорически запрещено) и т. д. И постоянные разговоры о том, что нужен настоящий хозяин как на производстве, так и в стране в целом. Таковым хозяином Сталина народ явно не считал. Таким его воспринимали лишь обслуживающий персонал на дачах и охранники. По закону термодинамики высокий уровень организации жизни и обустройства обитателей Кремля был достигнут за счет дезорганизации всей страны, хаоса и нищеты многомиллионного населения. О негативном отношении населения к Сталину свидетельствует и то, как фронтовики Челябинска встретили Г. К. Жукова, направленного командовать Уральским военным округом.

По рассказам моего двоюродного брата Рида, Жукова, приехавшего в Челябинск без всякой свиты, фронтовики встретили на вокзале, взяли на руки и несли около 2 км до Облвоенкомата. Это явно было не только проявлением всенародной любви к полководцу-победителю, но и протестом против его преследования властями.

Со второй половины 1950-х гг. жизнь стала заметно улучшаться. Подросли и начали работать мальчишки и девочки, выросшие без отцов. В 1953 г. прошла «Ворошиловская амнистия», как у Владимира Высоцкого, «освободили раньше на пять лет, и подпись Ворошилов, Георгадзе». За отнятые годы урки платили по полной, но не властям, а простым людям. В известном фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...» описаны теневая сторона и жуткие последствия этого «человеколюбия к социально близким». Действительно, кривая преступности резко поползла вверх, но рецидивистов и убийц быстро отловили, а вот на свободе остались миллионы тех, кто попал в зону за колосок ржи, подобранной на колхозном поле, или за выкопанную там же кастрюлю брошенной и мороженой картошки. Вскоре начали возвращаться и политические заключенные и ссыльные. Приехала в Челябинск мать моего двоюродного брата Рида, но вскоре уехала в Москву. Затем началась демобилизация кадровых военных. Хрущев, заполучив водородную бомбу и ракетное оружие, решился на резкое сокращение Советской армии. К производительному труду возвращались сотни тысяч, если не миллионы дисциплинированных, активных мужчин. В те годы армия не вызывала у молодежи такого ужаса, как в наши дни, а для некоторых условия срочной службы были даже лучше, чем на гражданке, во всяком случае не приходилось голодать.

Особое значение имел провозглашенный Г. М. Маленковым курс на преимущественное развитие промышленности группы «Б», т. е. предприятий легкой и пищевой промышленности, и отмену многих видов налогов на сельскохозяйственные продукты, давшую передышку колхозникам. Народ заговорил: «Пришел Маленков, поедем с медком». Придумано ли это пропагандистами, поверил ли народ всерьез, что партия одумалась, понравилась ли игра слов, не знаю. Но помню, как радовался народ, когда Маленков в 1954 г. приехал в Челябинск, дал разгон в каких-то магазинах, куда неожиданно заявился, а после его отъезда многое появилось в продаже. Маленков был единственным из руководителей страны, о котором я в повседневной жизни никогда ничего не слышал плохого. В народе долго жило сожаление, что он правил так недолго. Правда, в памяти народной не осталось, что при Маленкове в печати появились понятия «культ личности», «мирное сосуществование», «коллективное руководство», «система коллективной информации» и др., авторство которых позднее приписали Н. С. Хрущеву.

Последнего тоже вначале восприняли положительно. Но вскоре он бросился догонять США по производству «мяса, молока и масла» на душу населения. Поскольку он считал, что личное подворье отвлекает горожан и жителей села от достижений этой цели на колхозных фермах, стали притеснять тех, кто пытался производить для себя продукты животноводства. В городах вообще запретили держать скот, трудно стало доставать корм для кур и гусей, а в деревнях перестали выделять угодья для пастбища и покоса. Стремясь поскорее отрапортовать о достигнутых успехах, руководство области и города вынуждено было стимулировать забой скота, под нож пускили даже табуны лошадей, оставшихся основной силой в колхозах.

После смерти Сталина стали давать по 4–6 соток вблизи города, где можно было построить маленький садовый домик, больше похожий на сарайку, из старого

материала, и строго по плану разбить сад и огород. Первое соблюдали, так как желавших построить что-то приличное безжалостно исключали, а вот заставить людей и на своем участке трудиться строго по плану не удалось. Вскоре во многих семьях продукция с этих крошечных садов-огородов стала существенным подспорьем в питании, с избытком снабжая зеленью, овощами и фруктами летом и позволяя делать существенные запасы на зиму. Создавалось впечатление, что только за их счет как-то и удастся решать продовольственные проблемы. Хрущеву это не нравилось, так как труд по вечерам и выходным отвлекал людей от строительства коммунизма на общественном производстве и способствовал сохранению частнособственнических настроений. Периодически инициировались газетные кампании, которые осуждали огородников, не позволявших разворовывать свои огороды и устраивавших самопалы и коллективную самоохрану. Но местное начальство понимало, что без этих садов-огородов прокормить народ невозможно, да и само обычно имело участки в тех же коллективных товариществах. Среди них я знал секретарей обкомов, горкомов и райкомов, руководителей исполкомов различного уровня. А государственная, так называемая обкомовская, дача на озере Смольном чаще всего пустовала.

Вообще, после того как стало известно о решениях XX съезда партии, стало все больше заметно, что авторитет власти в народе не слишком велик. Люди, почувствовав себя свободнее, открыто выражали недовольство. Над газетами и радио потешались. Хотя всем был известен тезис о кино как важнейшем «из всех искусств», его познавательного-пропагандистская эффективность была сугубо отрицательной. Выражение «как в кино» было синонимом высшего неправдоподобия. Вместе с тем в кино ходили охотно, погружаясь в его сказочный мир. До 5-го класса любил в кино ходить я, предпочитая патриотические фильмы, посвященные великим полководцам и флотоводцам.

И млад, и стар, коммунисты и беспартийные рассказывали антисоветские анекдоты. В ходу были различные частушки и стишки типа «О Гагарин, ты могуч и летаешь выше куч, полетишь как на орбиту, захвати с собой Никиту...» — и далее в нецензурных выражениях объяснялось, для чего это надо: чтобы тот перестал, мягко говоря, пудрить мозги рабочему классу. Из детских впечатлений запомнился первый вариант подпольной поэмы Александра Трифоновича Твардовского, попавший в наш дом в середине 1950-х гг., что свидетельствовало о ее широком хождении. Помню, что все были убеждены: это подделка, — так она расходилась с классическим образом и самого Василия Теркина, и его прославленного и, казалось, облаканного властями автора. Но самый главный для меня авторитет в области литературы двоюродный брат Рид сказал: «Так написать мог только сам Твардовский. Его, как Пушкина, подделать невозможно». Вскоре главу «Так это было» из поэмы «За далью даль» я выучил наизусть. На всю жизнь врезались строчки:

А вы, что ныне норовите
Вернуть былую благодать,
Так вы уж Сталина зовите —
Он Богом был — он может встать.

В становлении моего мировоззрения стихи Твардовского были важнее, чем романы и повести его тезки Солженицына.

Увеличивающийся при Хрущеве сонм друзей и Героев Советского Союза на разных континентах также не вселял оптимизма. Народ потешался над всякими очередными кампаниями, мало кто верил, что «нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме». Последний виделся некой линией горизонта, удаляющейся по мере приближения. При появлении Хрущева в документальной хронике, которая шла перед каждым фильмом, зал разражался хохотом, свистом. Однажды я сидел у одного из своих школьных друзей, когда пришел сосед и попросил позвонить по телефону. Ему разрешили. Оказалось, что сосед звонил в милицию, чтобы донести на каких-то пьяных, ругающих партию, власть и лично Н. С. Хрущева. Он был очень возмущен тем, что дежурный, поблагодарив его за бдительность, издевательски попросил лично доставить антисоветчиков в отделение, так как нет свободных милиционеров.

В 10-м классе я вместе со всей школой участвовал в первомайской демонстрации. Как положено, во время прохождения мимо трибун нас приветствовали различными лозунгами типа «Слава КПСС!», «Да здравствуют советские учителя!», «Металлурги, ваша сила в плавках!» и т. п. Когда наша школа покинула площадь, но продолжала еще двигаться в общей колонне, я, пародируя услышанное, начал бросать лозунги: вначале «Да здравствует школа 121!», «Ученики, глубже овладевайте формулами тригонометрии и физики!» и т. д., которые радостно подхватывала вся колонна, разогретая солнцем, нахождением в общей колонне. Возбужденный всеобщим вниманием, я перешел на политические темы и заорал: «Касавубу не в дугу!», «Чомбе кирпичом!» Эти деятели Конго, сыгравшие решающую роль в гибели Патриса Лумумбы, тогда ежедневно клеймились по радио и в газетах. Услышав дружное «ура» со стороны сверстников, я совсем потерял чувство реальности и прокричал: «Хрущев на Украину!» и «Хрущев на скамью подсудимых!» На этот раз, помнится, «ура» прозвучало намного тише, и я остановился.

Учителя шли рядом с нами, и никто из них мне тогда ничего не сказал. Но уже третьего мая меня потащили к директору школы, где возмущенная учительница физкультуры, которая, кстати, знала меня чуть ли не с 5-го класса и, в принципе, относилась ко мне неплохо, докладывала директору о моей антисоветской выходке, не осмеливаясь, однако, повторить мои лозунги о Хрущеве. Директор Ольга Александровна Зубринская, которая шла в нескольких шагах от меня и не могла не заметить моей выходки, вдруг обратилась ко мне с вопросом, действительно ли я скандировал антисоветские лозунги. К тому времени я уже понимал возможные последствия происшедшего и сказал, что здесь какое-то недоразумение. На самом деле я требовал наказания для наймитов бельгийского империализма и подлых убийц из Африки. Неожиданно для меня директор удовлетворилась ответом и сказала доносчице: «Вот видите, он ничего недозволенного не говорил». Далее, не обращая внимания на возмущенные комментарии жалобщицы со скрытой угрозой (типа «вы не могли этого не слышать»), директор попеняла мне за несдержанность во время демонстрации и отпустила с богом. Сейчас я понимаю, что она поступила мудро, не привлекая внимания к школе со стороны и на корню пресекая возможность разборок происшедшего. В то же время тогда в ее облике и поведении я ощутил также сочувствие, а может, даже согласие с моими призывами. Возможно, она со скепсисом относилась к хрущевским выходкам. Во всяком случае, в школе я только от нескольких учителей слышал «правоверные», по советским меркам, речи.

Даже на первый взгляд полезные начинания типа отмены обязательной подписки на займы, в результате чего часть вычитаемой ранее зарплаты стала оставаться, вызывали недовольство. Все хотели, чтобы ранее изъятые по займам деньги вернули сегодня, а не через двадцать лет, когда вроде уже они будут не нужны при коммунизме. В городе развернулось массовое строительство, стали постепенно ликвидироваться наиболее ужасные трущобы, бараки, города из вагончиков. Но жилья по-прежнему не хватало. Многие, оказавшиеся в квартирах с удобствами, где не надо было рубить дрова, топить печи, копать огород, ухаживать за домашними животными, не знали, чем заниматься. Мужики начали пить. Постепенно пьянство захватывало все более широкие слои. Пенсия также не очень обрадовала людей, у большинства она тогда была мизерная, а людей порою против их воли отправляли на «заслуженный отдых». Вообще в повседневной жизни мы не ощущали «нерушимость блока коммунистов и беспартийных». Да и сами коммунисты были не прочь в неофициальной обстановке поругать власть. И для этого были серьезные основания.

К концу 1950-х после краткого периода относительной доступности основных продуктов прилавки на рынках и в магазинах стали пустеть. Даже при низких доходах большинство населения не могло истратить деньги, покупая самые необходимые товары. Начался рост цен на рынках. Скрытую инфляцию попытались сбить 20%-ным повышением цен на водку, вино и коньячные изделия в 1957 г., якобы для борьбы с пьянством, и деноминацией рубля в 1961 г., т.е. округлением ценников в сторону увеличения. Все повторяли стихи, написанные кем-то на памятнике Ленину на площади Революции, в самом центре города: «Володя проснись, с Никитой разберись, водка уже стоит 27, а масла и мяса нет совсем». Летом 1962 г. официально повысили розничные цены в магазинах на мясные и молочные продукты. Это привело к открытому недовольству и закончилось расстрелом протестовавших рабочих в Новочеркасске. Чуть раньше в Карагандинской области забастовали шахтеры. Для их успокоения, по слухам, из Челябинска был послан десантный полк, а заодно и председатель совнархоза обкома М. С. Соломенцев, ставший впоследствии членом Политбюро ЦК КПСС и председателем Совета министров РСФСР.

Не спасали от надвигавшегося голода и распаханнные на юге области целинные и залежные земли, а приехавшие на их освоение комсомольцы быстро почувствовали себя никому не нужными. Неурожай 1962 г. окончательно похоронил надежду на решение сельскохозяйственной проблемы за счет внутренних ресурсов. Хлеб какое-то время можно было купить только по месту жительства и в ограниченном объеме, в рыбных магазинах начали продавать только головы и хвосты рыб, а из мясопродуктов в специализированных магазинах осталась только неоновая вывеска «Мясо». Периодически приезжая в Челябинск из Ленинграда, я видел, как стремительно пустеют полки магазинов и растет число продуктов, отпускаемых по талонам, нормативы которых становились смехотворными, да и те надо было умудриться отovarить, отстояв огромную очередь. И это было задолго до того, как М. С. Горбачев, которого сейчас все клянут за развал страны, провозгласил перестройку.

Дешевая китайская одежда и обувь, заполнившая прилавки магазинов в начале 1950-х гг., вскоре приелась, а затем и ее не стало. Исчезли и товары из социалистических стран Восточной Европы. Все время возникал дефицит самых обычных товаров — бритв, носков, перчаток, я уж не говорю о радиолax, телевизорах,

холодильниках, мебели. Их обычно доставали по блату или после многолетнего стояния в каких-то очередях по записям и талонам, которыми также торговали зарождающиеся бизнесмены. Каждый раз, когда я летел в Челябинск, старался прихватить мяса, масла. Иногда вдруг дефицитом становилось крепленое вино, и не привыкшие к сухим винам челябинцы всюду ругали власти за то, что приходилось пить «кислятину», а затем и она становилась дефицитом. По мере того как зрел «развитой социализм», а страна приближалась к дате, записанной в программе КПСС как начало коммунизма, дефицитом становилось всё. А народ иронизировал, что подошли к завершению построения коммунизма: «Деньги ещё есть, но купить на них уже ничего нельзя». Все больше товаров отпускалось с заднего входа в магазин. Народ понял, что коммунизм наступит тогда, когда у каждого советского человека в каждом магазине или на складе будет знакомый человек. Работа в торговле, которую мы презирали в юности, стала престижной, а продавщицы — желанными невестами и любовницами.

В 1976 г. накануне 1 мая я оказался в Челябинске. К тому времени полки магазинов в городе уже сильно опустели и трудно было что-то купить к празднику. Отец раньше всегда отказывался закупать продукты с заднего хода, а здесь, желая меня угостить, предложил сходить с ним вместе за продуктовыми наборами. Их раздавали в столовой Управления Южно-Уральской дороги, вход в которую был со двора. Когда мы с отцом вошли, там стояла очередь из начальников служб (локомотивных, вагонных, связи и т. д.). Каждый из них управлял предприятиями, разбросанными на обширной территории, примерно 1500 км с запада на восток и 600 км с севера на юг, и организовывал работу десятков тысяч железнодорожников. В их петлицах были одна или две большие (генеральские) звезды. Вызывали по списку, по нему же выдавали дефицитные продукты. Отцу полагалось 2 кг мяса, палка колбасы полутвердого копчения, банка красной икры, банка шпрот, полкило шоколадных конфет и ещё что-то. Все поместилось в небольшой сумке. На обратном пути отец сказал: «Запомни, Эдик, что в условиях победившего социализма и на 60-м году советской власти генералы производства имеют право с заднего входа зайти в столовую и купить к праздничному столу два килограмма мяса». Невозможно передать сквозившее в голосе чувство презрения к властям, заставлявшим их, крупных организаторов производства, испытывать подобные унижения. Ещё тяжелее приходилось тем, кому к праздникам не предлагали и такие наборы, а квартиры приходилось ждать многие десятилетия.

«ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ»

Однако недовольство властью не выходило за рамки бытовых разговоров, анекдотов, стишков, песенок. Добывание хлеба насущного, выращивание и воспитание детей, проблемы жилья, как и должно быть, занимали людей больше всего. Но производство также было важной частью их жизни. Челябинск был городом дымящих труб и суровых мужчин. Все мы помнили, что наш город был в годы войны «Танкоградом», что он расположен на Урале, «опорном крае державы», что без нашей стали и наших танков Т-34, КВ и ИС исход войны был бы другим. С 1-го класса мы учили стихотворение «Кто эти танки нам послал? Славный Сталинский Урал». И это была правда. Практически все наши заводы были оборонные. И мы гордились, что труд наших земляков обеспечил победу в схватке с фашистами и не дает возможности американцам напасть на СССР, и даже тем, что в случае атомной войны один из первых ударов будет нанесен по нашему родному городу. Город был закрыт для иностранцев, кроме китайцев.

Китайцев мы, школьники, искренне считали нашими союзниками и хором пели «Русский с китайцем братья навек». Модно было переписываться с китайцами, в 4-м классе я тоже обменялся несколькими письмами с китайским сверстником, благо тогда они все учили русский язык. Интересно, что президент Международного конгресса по истории науки в Пекине в 2005 г. и бывший директор Института истории естествознания АН КНР Лю Дун сказал мне, что в школьные годы переписывался с девочкой из Челябинска, и мы сразу почувствовали общее в нашем детстве. Тогда еще не было принято считать, какой из народов за счет кого живет. Мы были глобальными интернационалистами. И злоключения бедной «райской птички с черными яичками» (Поля Робсона), которого американские «изверги» не выпускали петть за границу, переживали острее, чем невзгоды миллионов соотечественников, маявшихся в лагерях. Позднее то же повторилось с американской правозащитницей Анджелой Дэвис, превращенной нашей пропагандой в символ борьбы за права заключенных в США. У нас такого символа до 1970-х гг. не было. Да и сейчас нет и не предвидится. Трудно назвать таковыми М. Ходорковского или “Pussy Riot”.

В детстве мы любили петть «Варяг», песни военных лет и революционные песни, а также русские народные. Необходимым элементом нашего репертуара был и «блатной» фольклор, с него позднее начинал и Владимир Высоцкий. С середины 1950-х у части молодежи популярным становился осуждаемый властями джаз, а затем особенно буги-вуги и рок-н-ролл. Дирекция школы строго следила, чтобы эта зараза, как и узкие цветные брюки, не тревожила невинные души. Принесенные на вечер пластинки директор лично строго проверяла на предмет крамолы, прежде чем разрешить пронести в радиорубку на вечерах. Но ее обманывали, наклеивая на пластинки с Элвисом Пресли какой-нибудь «Школьный вальс» или

«На сопках Маньчжурии». Когда обман выяснялся, вечер порой прерывался ненадолго, но иногда все сходило с рук. В целом учителя были опытными педагогами и чувствовали меру давления на нас.

Кое-что мы знали и о Челябинске-40, о комбинате «Маяк» и о том, что там делали. Я даже знал об атомном взрыве в сентябре 1957 г. О сути «полярного сияния», как его именовали в газетах, мне позднее рассказал мой друг и сосед по «Камчатке» в 8-м классе Коля Соколов. Его отец, секретарь обкома партии, видимо, тоже не знал точно все, что произошло, так как дома говорил, что взорвался атомный реактор.

Вообще, это удивительное мироощущение. В условиях нищеты и презрения к правительству существовала гордость за страну и за народ, победивший страшного врага в смертельной схватке, уважение к фронтовикам, которые к тому же по привычке еще ничего и никого не боялись. Удивительно и наше умение отличить их от «штабных крыс», увешанных орденами. Правда, справедливости ради надо сказать, что отрочество и юность моя выпали на один из самых счастливых периодов в истории страны, когда недолго, в течение нескольких лет, существенно улучшалась жизнь людей. Это было связано с преодолением самых тяжелых последствий войны и отказом от массовых репрессий. Мы не были равнодушны к тому, что происходило в городе. Гордились новыми улицами, зданиями институтов, кинотеатров, театров. В городе был сооружен один из лучших в стране вокзалов. Интенсивно строились школы, больницы, дворцы культуры. Закладывались новые скверы, возникали памятники, фонтаны. И мы радовались этим изменениям, видя в этом символ счастливого будущего. Местные отцы города еще боялись пилить бюджеты. Сталинские репрессии помнили все. И все знали, что всякое правило написано кровью.

В городе по-настоящему ценили тех, кто умел работать, в том числе и организаторов производства. Некоторое время после войны большинство предприятий возглавляли люди, которые, не жалея ни себя, ни других, смогли воочию превратить Урал в «опорный край державы». Среди них наиболее известным в те годы был директор ЧТЗ, бывший ленинградец, легендарный И. М. Зальцман, благодаря которому Челябинск в годы войны неофициально называли Танкоградом. Про него говорили, что никто не умел делать так хорошо танки, но никто хуже его не мог вписаться в мирную жизнь Танкограда. В 3-м классе из-за воспаления слезной железы мне пришлось несколько дней пролежать во взрослой больнице Тракторозаводского района и услышать много интересного о деятельности организатора Танкограда и по совместительству наркома танковой промышленности, обеспечивавшего Красную армию огромным количеством новейших танков. Впоследствии, в разгар антисемитской кампании и «ленинградского дела», генерала-майора И. М. Зальцмана — Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии — сняли с должности директора ЧТЗ, исключили из партии и сослали обычным мастером с мизерным окладом в провинциальный г. Муром Владимирской области. Его недоброжелатели говорили, что «криком и матом нельзя командовать наркоматом». Бывшие же рабочие, вспоминая, как он, порой матерясь и размахивая пистолетом, добивался невозможного, оценивали эффективность стиля его управления иначе. По их рассказам, именно железная воля и беспощадность в сочетании с заботой о простом человеке, его питании, жилье, одежде дали уникальный результат: город,

не выпустивший до войны ни одного танка, за два года превратился в крупнейшего в мире поставщика новейших танков в требуемом объеме. Тогда я впервые заметил, как сильна в народе тоска по барину, жесткому, но справедливому и болеющему за порученное ему дело.

В годы войны здесь трудилось и немало других руководителей промышленности, от которых военное время потребовало в короткое время и с минимальными ресурсами сделать невозможное — обеспечить фронт всем необходимым, чтобы спасти войну, проигранную политическим и военным руководством в 1941 г. И они сделали то, что ретроспективно сейчас кажется чудом. В какой степени этому чуду способствовали трудовые армии и репрессии против недисциплинированных тружеников, судить не берусь. Но знаю, что труд из-под палки неэффективен.

Вспоминаются многочисленные рассказы о начальнике Южно-Уральской железной дороги Леониде Петровиче Малькевиче, возглавившем ее в возрасте 27 лет накануне войны. Говорят, он был высокого роста, широкоплечий и красивый, демократичный в общении с подчиненными, заботившийся о них. Под его руководством был проведен комплекс мероприятий, обеспечивших первоочередное и беспрепятственное движение поездов, осуществлено развитие ряда узлов и станций, строительство новых. Он поддержал предложение машиниста депо Челябинск П. А. Агафонова и организовал для фронта паровозные колонны; 22 колонны были созданы в депо Курган, Троицк и ряде других крупных железнодорожных узлов. Южно-Уральские железнодорожники строили бронепоезда, поезда-бани и санитарные поезда. Из железнодорожников были сформированы два военно-эксплуатационных отделения по 2,5 тысячи человек. И вот по приказу Сталина его в сентябре 1942 г. сняли и отдали под трибунал за задержку какого-то стратегически важного груза. Тогдашний первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б), впоследствии бесшумный министр внешней торговли СССР Н. С. Патоличев, несмотря на сталинский гнев, дал Малькевичу свой самолет, и тот смог вылететь в Москву. Там ему организовали прием у Сталина, который, выслушав Малькевича, смягчился и ограничился освобождением от должности и назначением на другую железную дорогу. Впоследствии выяснилось, что без Малькевича в Челябинске дела пошли намного хуже, и два года спустя Сталин вновь назначил его начальником Южно-Уральской железной дороги. И уже в 2006 г. в железнодорожном музее я еще раз с удовольствием услышал историю, как Малькевич, прибыв на станцию Кропачево, с которой со стороны Москвы начиналась вверенная ему дорога, потребовал у удивленного начальника станции допустить его к селектору и сообщил всем, что вновь приступил к исполнению своих обязанностей. Отсюда он через некоторое время ушел на повышение в Москву, стал заместителем министра путей сообщения и, говорят, был и там на месте. Но брежневской «элите» такие люди уже были не нужны. Ей уже было на все наплевать.

Челябинск, впрочем, как и многие города Урала и Сибири, где ковалась победа, давал высококвалифицированные кадры крупных организаторов промышленности и строительства для всей страны, в том числе и для министерств и ведомств. Благодаря им обеспечивался быстрый рост экономики в первые послевоенные десятилетия. Труд, план любой ценой, создание новых предприятий, новых домен, мостов, железнодорожных путей и т. п. — все это было важной стороной жизни города, как простых людей, так и организаторов производства. Строителей и железнодорожников

я знал лучше всего, так как мои родители были связаны со строительством на железной дороге, а отец почти четверть века возглавлял Дорожно-строительный монтажный трест Южно-Уральской железной дороги.

Некоторые из этих людей или бывали в нашем доме, или были родителями моих друзей, с другими я познакомился во время работы в изыскательской партии, третьи были со мной откровенны после того, как оказались на пенсии. О многом узнавал из рассказов старших еще в детстве. Производственная жизнь с ее повседневными трудностями, сложностями и глупыми ограничениями, в том числе и политико-идеологического характера, часто проявлялась в разговорах старших. Всегда критически был настроен мой отец. Его наиболее близкий друг Михаил Дмитриевич Захаров также был достаточно откровенным в нашем доме, — и когда я учился в школе, а он занимал высокие должности в городе, и впоследствии, когда я работал в изыскательской партии в Дорожной проектной конторе Южно-Уральской железной дороги (Дорпроект), которую он возглавлял после несколько неожиданного завершения советско-партийной карьеры.

Захаров был на 11 лет старше моего отца. В 1941 г. он уже был начальником Дорпроекта, а отец — начинающим инженером, которому дали комнату в том же доме, где жил Захаров. Анкета его была безупречна. По происхождению Михаил Дмитриевич был из крестьян, начал трудиться в Москве рабочим-строителем, закончил курсы десятников железнодорожного строительства, Свердловский строительный техникум путей сообщения и уже после войны Тбилисский институт железнодорожного транспорта. Как и у многих в те годы, его карьера была стремительна. Техник-изыскатель и старший инженер-проектировщик, уже в 30 лет он возглавил проектную контору Южно-Уральской железной дороги и в годы войны проявил себя крепким руководителем, умел подбирать способных инженеров и организовывать их работу. В 1954 г. его «избрали» вторым секретарем Железнодорожного райкома партии. Захарову не хотелось относительно спокойную работу в Дорпроекте менять на партийную, где никогда не знаешь, когда, за что и как придется отвечать. Писал он в ЦК с просьбой оставить его в Дорпроекте, но ему пригрозили, что отберут партбилет, и он смирился. Будучи здравомыслящим и порядочным человеком, Захаров на новом месте проявил себя хорошо и быстро дошел до второго секретаря Челябинского горкома партии. Но с первым секретарем они из-за чего-то не поладили, и тот его спровадил на пост председателя Челябинского горисполкома, с обязанностями которого Захаров также неплохо справлялся. В течение нескольких лет город успешно развивался и благоустривался, так как Захаров уделял особое внимание социальной сфере и строительству. Особых благ он не обрел, кроме стандартной трехкомнатной квартиры, в которой проживал со своей женой Марией Александровной, очень скромной и доброй женщиной, сыном и дочерью.

В январе 1961 г. его по настоянию все того же секретаря горкома направили как бы на повышение, назначив председателем партийного контроля Челябинской и Курганской областей. Реально это было наказанием, так как отныне у Захарова в распоряжении было только восемь контролеров, да к тому же предписание исполнять сложные функции контроля, где он должен был решать задачи со многими неизвестными: кого, когда, как и в какой степени контролировать. Непосредственной причиной подобного «повышения» стала попытка Захарова помешать принять по плану 1961 г. жилые дома, строительство которых не было полностью завершено.

Жить в них можно было, но не было проведено благоустройство прилегающих территорий, не заасфальтированы подъезды к домам. В общем, ситуация обычная. Строители клялись, что «как только, так сразу», т.е. как только погода позволит, то сразу же они все сделают. Председатель горисполкома знал цену подобных обещаний, ведь жалобы жильцов, вначале счастливых, что наконец-то получили квартиры, а потом требующих ликвидировать недоделки, шли к нему. А строители, закрывшие объект, выбравшие все фонды и получившие премии, будут от недоделанных объектов бегать, как черт от ладана. Но победила точка зрения первого секретаря горкома: главное, чтобы жильцы Новый год встретили в новых квартирах, построенных для них советской властью.

Сообщение об этом инциденте было напечатано в газете «Известия» и попало на глаза Н.С. Хрущеву, который в это время, не догнав Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения, начинал очередную кампанию, на сей раз по искоренению очковтирательства. Его решения, как всегда, были импульсивными и необдуманными. 21 марта 1961 г. вызвали в секретариат ЦК КПСС партийное и советское руководство Челябинской области. Неудачную линию защиты выбрал первый секретарь горкома партии К.Н. Воронин, заявивший, что они действительно виноваты в приеме домов без заасфальтированных дорожек, но это обычная практика, а вот в г. Горьком принято несколько сотен тысяч квадратных метров в домах, в которых не было даже крыш. Ему ответил Ф.Р. Козлов, ведущий заседание, что «бесчестный человек ведет себя бесчестно и в высшем органе партии, в секретариате ЦК КПСС». В результате К.Н. Воронина исключили из партии. Первый секретарь Челябинского обкома партии, член ЦК КПСС Н.В. Лаптев был освобожден от работы в связи с болезнью. Из-за его болезни сняли с должностей все высшее руководство области и города, кого с партийными выговорами, а у кого отняли и партийный билет. Досталось и Захарову, его с выговором сняли с должности, на которую он только что был назначен, на этот раз за то, что не до конца сопротивлялся незаконным требованиям горкома принять незавершенные дома.

Буквально через несколько дней после заседания секретариата ЦК КПСС Захаров был в гостях у нас, и весь вечер разговор крутился вокруг произошедшего. К моему удивлению, Захаров был не очень расстроен, допуская, видимо, и возможность худшего исхода дела. Он считал себя попавшим под «колесо истории» и оставшимся, к счастью, живым. Вскоре я понял причины такого отношения к краху партийной карьеры. В Казахской ССР расстреляли двух секретарей обкома партии за подобные «прегрешения». К нам же первым секретарем обкома прислали из Москвы М.Т. Ефремова, который до того возглавлял Куйбышевский обком КПСС. В Челябинске он проработал недолго, вскоре уехал в Горький, где и принимали дома без крыши, а затем был назначен заместителем председателя Совета Министров СССР, а вскоре и отправлен на дипломатическую работу. Подобными «ротациями» и «укреплениями» кадров очковтирательство не только не изживалось, но и расцветало все ярче, приняв вскоре грандиозный размах в эпоху брежневского развитого социализма.

В эйфории собственной непогрешимости центральная власть допустила ещё одну ошибку. Заседание секретариата ЦК КПСС произошло в разгар избирательной кампании по выборам депутатов Верховного Совета РСФСР. Накануне по городу и области прошли собрания трудовых коллективов, на которых единодушно

были выдвинуты лица, вскоре снятые со своих должностей и исключенные из партии. Пришлось в пожарном порядке проводить новые собрания по их отзыву и выдвижению новых кандидатур. Ясно, что подобные акции центральных властей не вызвали популярности не только у простых людей, но и у властей предрежущих в областном масштабе.

Вообще, меня всегда удивляло, как власть может не понимать, что она должна защищать своих сторонников и представителей. Все было наоборот, она карала всех направо и налево. В 1959 г. сняли с поста секретаря обкома отца моего друга Коли Соколова. В их семье было две дочери и три сына. Я часто бывал в их трехкомнатной квартире, которая была не больше нашей, а обстановка почти нищенская. Какой-то чуть ли не дореволюционный шкаф, примитивная и бедная мебель, табуретки вместо стульев. Позднее мне не раз приходилось разговаривать с отставным секретарем обкома, ответственным когда-то за сельское хозяйство области. Это был, безусловно, честный, порядочный человек, который на своем посту делал все возможное, чтобы поднять производство сельскохозяйственной продукции, мотаясь по области и работая без выходных. Но то, что ему удалось когда-то сделать в масштабе своего района в первые годы после смерти Сталина, уже не получалось на новом месте. В итоге его освобождения от должности грубо, с матом потребовал работавший ранее в Челябинске А. Б. Аристов, ставший двумя годами ранее членом Президиума, секретарем ЦК КПСС и хотевший на это место посадить своего человека. Через год сняли и его, но дело от этого лучше не пошло. И подобных примеров грубых, обидных и незаслуженных освобождений от должностей людей, преданных своему делу, умевших работать, по большому счету ничего фактически не получавших за свой труд, кроме персональной машины для служебных разъездов, я мог бы привести много. Естественно, это не способствовало укреплению строя или росту популярности его даже у тех, в обязанности которых входило его защищать. Несправедливые наказания не имеют воспитательного значения. Напротив, они развращают остальных, показывая, что лучше не высовываться и ничего не делать. Жаль, что этого не могут понять наши руководители.

СЕМЕЙНЫЕ ГНЕЗДА

Семья — главное в жизни человека, особенно в детстве. И все усилия и программы по воспитанию человека и гражданина обречены на провал, если у ребенка нет дома, если он лишен родительской ласки и в детстве не ощутит в полной мере заботы о себе и, в свою очередь, не будет приучен заботиться о других. Мне повезло. В тяжелое послевоенное время я рос в полноценной семье, по тем временам это далеко не всем удавалось. У меня были бабушка, правда одна, оба родителя, два брата и сестра: всего семь человек. Как и большинство моих сверстников, я не знал дедушек (один умер за год до войны, другого расстреляли в 1937 г.), а многие дяди и тети погибли во время войны или сгинули в ГУЛАГе.

Вначале мы жили на центральной улице города, носящей имя Спартака, позднее ее переименовали в улицу Ленина. Так она и сейчас называется. Дом был деревянный, когда-то частный, потом хозяина сослали, дом национализировали, сделали ведомственным. Обычная история в советских городах. Нашей семье его предоставили как служебное жилье. Был он размером 64 кв. м, т. е. 8 на 8, кухня и три комнаты, все смежные и одинаковые размером по 16 кв. м, туалет на улице в нескольких десятках метров от дома. У нас было два сарая с сеновалами, где держали корову, свиней, птицу, а также хранили дрова и уголь. Одна комната была чем-то вроде гостиной, в другой спали родители и младшая сестра, а в третьей — бабушка и мы, трое братьев. Комната родителей и детская были соединены проемом, который загораживали шкапами с двух сторон, но звуковой изоляции не было. Летом мы обычно спали на сеновале. Иногда зимой кто-то из нас перебирался на полати в кухню, но там надо было быть начеку, чтобы не свалиться с высоты 3 м. Иногда там спали няни-домработницы, периодически появлявшиеся в нашем доме. Долгое время жила молодая деревенская девушка из деревни Нюра, которая приехала с нами из Карталы. Ее я плохо помню, кроме того, что, не выговаривая долго «н» и «р», пояснял каждый раз: «Юля, которая ходит за водой», чтобы отличить ее от моего брата «Юли, который ходит в школу». Потом ей сделали паспорт и устроили на работу. Впоследствии она изредка приходила в гости. Позднее находить домработниц стало все труднее и труднее, немногим хотелось идти в дом, где было столько детей и огромное хозяйство. Я помню только одну, которая согласилась помогать по хозяйству за угол, питание и небольшие деньги, работая при этом кочегаром в котельной Управления дороги.

По нынешним временам обстановка в доме была примитивная: железные, как я сейчас подозреваю, выданные на производстве, кровати, порванные пружины которых скрепляли проволокой, дощатые столы, табуретки и лавка на кухне. Если приходили гости и мест не хватало, на табуретки клали доски. Из мебели два самодельных шкафа, а также изготовленные столярами с отцовской работы книжный шкаф

и буфет. Самым ценным предметом была ковровая дорожка 5 м длиной и 1 м шириной, которую отец как-то привез из Москвы. Она соединяла столовую и спальню родителей. Поскольку пол был холодный, мы любили валяться на ней, играя в шахматы, шашки, «чапая», «уголки». Вообще первый набор мебели родители купили уже на новой квартире в 1966 г., скопив 1000 рублей по страховке.

Летом в доме было жарко, зимой — холодно, по утрам на дверях и по углам выступал иней, хотя печи топили два раза в день, разогревая дверцы порой докрасна. Приходилось колоть дрова, носить уголь, следить за огнем, а затем выгребать и выносить золу. Крыша в доме протекала, и ее постоянно ремонтировали, часто перекладывали плиту. Почти каждый год делали косметический ремонт, штукатурили, белили потолки, стены, красили полы. Тогда не клеили обои и каждый раз на стенах делали разные накаты, а поверху по трафарету расписывали картинки. Делали это обычно перемещенные из Бессарабии маляры. Дом на короткий срок становился подобием дворца, но в условиях резкого перепада температур все быстро начинало отваливаться, крошиться, линять, и ежегодно приходилось повторять все заново, на несколько недель парализуя нормальную жизнь в доме. На зиму вставляли двойные рамы, между рамами укладывали вату, ею же затыкали щели, которые замазывали специальным составом, так называемой замазкой. В сильные морозы от окон все равно шел холод. К тому же стекла часто бились, а так как достать новые было нелегко, дырки или забивались фанерой, или составлялись из кусочков стекла.

До 1953 г. водопровода не было, за водой приходилось ходить через два перекрестка. Обычно это делала мама и мои старшие братья, но что-то в ведерках, используя маленькое коромысло или на санках, доставлял и я. Особенно скверно было зимой в 20-, а то и 30-градусный мороз. Правда, иногда воду привозил на лошади водовоз, тогда все бочки, ведра, корыта в доме заполнялись до краев. В них иногда оказывались мыши, пытавшиеся как-то спастись от кошки. Еду обычно готовили на печке, точнее на плите, но летом, когда было очень жарко, пытались готовить на электрических плитках, но они часто перегорали, и тогда на керогазе, который ужасно коптил. Электричество также часто выключали, и в доме всегда был запас свечей, при которых мы умудрялись читать и писать. Иногда выручали китайские фонарики — пожалуй, единственное произведенное в КНР, что не сразу выходило из строя.

Хотя наш дом был буквально в 800–900 м от центральной площади, вокруг было море деревянных домов, а недалеко бараки и какой-то жуткий «Шанхай». Правда, рядом был Челябинский политехнический институт, размещавшийся в типовой четырехэтажной школе. Во время избирательной кампании там был агитпункт. Об эффективности агитационной работы я судить не берусь, но, насколько помню, «избирателей» старше 10–12 лет я там не встречал. В нашем дворе был еще один дом, состоящий из общей кухни и двух комнат, в каждой из которых жило по семье, в одной пять человек, в другой — два. В пределах этого пространства прошло мое раннее детство и первые школьные годы. Кроме нас, четверых Колчинских, там были еще два мальчика и одна девочка. С детьми из других дворов мы общались мало, среди них царили безотцовщина, хулиганство, драки, игры на деньги в очко, в чикю. Но мы также были далеко не ангелы и кое-чему могли научить это «хулиганье». Впрочем, мы все тогда уже всё знали. Это про наше поколение Аркадий Райкин говорил: «Пить, курить, общаться с женщинами и ругаться матом я научился

раньше, чем говорить». С детьми за пределами двора я контактировал мало по другой причине. До 8–10 лет семерых детей с разницей в несколько лет достаточно для общения. Иногда к нам приходили школьные друзья, а также дети друзей родителей, приезжали двоюродные братья и сестра. В общем было весело.

Метрах в сорока от дома на углу переулка Могильнякова был маленький магазин, в котором практически ничего не было, тем не менее его грабили несколько раз. На ночь ворота во двор крепко закрывались на засов, а во двор спускалась крупная злобная дворняга Пират, которая на цепи, прикрепленной проволокой, контролировала двор. Днем Пират сидел на короткой цепи в будке, и детям запрещали к нему подходить. Однажды он исчез, а вместо него появилась небольшая, веселая и добрая коричневая дворняжка Чита. Она охотно играла с нами, но считала своим долгом облаивать всех чужих, а при случае цапала их. Правда, делала она это только в пределах двора, который считала своей вотчиной. Вскоре к ней присоединился щенок восточноевропейской овчарки Акбар, подаренный нам другом отца Владимиром Дашевским, которому соседи по коммунальной квартире запретили держать собаку. Акбар быстро сообразил, что главный в доме отец, и не особенно нас слушал. Кроме самых простых команд, он ничему не научился и, хотя жил в доме, днем вместе с Читой предпочитал носиться по двору, облаивая прохожих. Супа для него специально не варили, и он привык подьедавать за нами всякие вкусные вещи, порою выпрашивая их у стола. Обожал свежие яйца, за кражу которых из гнезд его наказывали. Тогда он разработал следующую тактику. Отыскав отложенное курицей яйцо, нес его в зубах в дом, якобы для передачи хозяевам. Когда кто-то из нас протягивал руку, чтобы взять яйцо, пес ронял его, яйцо разбивалось, и тогда пес, взглянув виновато, что, мол, ничего не поделаешь, с удовольствием пожирал его. Была в доме еще кошка, которая воистину гуляла сама по себе, будучи привязана к дому, а не к хозяевам. Днем она обычно спала, а ночью охотилась, и очень успешно. Ни крыс, ни мышей в доме в целом не было. Мать кошку не любила, но очень ценила, так как панически боялась крыс и мышей.

Восемь окон, четыре с улицы и четыре со двора, обязательно закрывали ставнями с болтами, вырвать которые было сложно. Выходившая на улицу дверь террасы была заделана железной решеткой. Тем не менее пару раз ночью пытались залезть в наш дом, рубя двери и ставни. Кажется, спас телефон, бывший в те годы редкостью. По нему вызвали наряд милиции. Наутро стражи порядка с собаками пытались выйти на след, но не смогли этого сделать из-за того, что грабители, уходя, раскидали медные царские монеты. Эти монеты мы еще долго хранили. По словам бабушкиных подруг, с наступлением темноты милиционеры побаивались заходить в переулок Могильнякова в 30 м от нашего дома. Там была какая-то «воровская малина». Мужчины в соседних дворах хоть и выпивали, но, кроме одного, его звали Степка-растрепка, не были пьяницами. Этот Степан иногда устраивал дебоши, бил жену, стекла, соседей, дрался и с милиционерами, но почему-то его каждый раз выпускали. Видно, не было закона об охране самих блюстителей правопорядка, которых сейчас власть самоотверженно защищает от пенсионеров, девушек и т. д.

У нас было настоящее хозяйство с коровой и телятами, овцами, свиньями, курами, утками, за которыми надо было ухаживать, кормить, чистить сараи. Корове варили картошку, давали барду и сено, которым были забиты две стайки. Когда сено